

БИБЛИОТЕКА ФЛОРЕНТИЯ ПАВЛЕНКОВА
ИСТОРИИ ЖИВЫЕ ЛИЦА



Библиотека Флорентия
Павленкова. Истории живые лица

Евгений Соловьев

**Вольтер. Гегель.
Шопенгауэр (сборник)**

«РИПОЛ Классик»

УДК 82-94
ББК 83.3

Соловьев Е. А.

Вольтер. Гегель. Шопенгауэр (сборник) / Е. А. Соловьев —
«РИПОЛ Классик», — (Библиотека Флорентия Павленкова.
Истории живые лица)

ISBN 978-5-386-08409-7

Флорентий Федорович Павленков – легендарный русский книгоиздатель, переводчик и просветитель, или, как нынче принято говорить, культуртрегер. В 1890 году он придумал и начал издавать свою самую знаменитую серию «Жизнь замечательных людей». При жизни Павленкова увидели свет 191 книга и 40 переизданий, а общий тираж превысил миллион экземпляров. Это была, по признанию многих, первая в Европе коллекция биографий, снискавшая колоссальный успех у читателей. Изданные 100 лет назад почти 200 биографий знаменитых писателей и музыкантов, философов и ученых, полководцев, изобретателей и путешественников, написанных в жанре хроники, остаются и по сей день уникальным информационным источником. В книгу вошли биографии известнейших философов-просветителей XVII–XIX веков – Вольтера, Гегеля и Шопенгауэра.

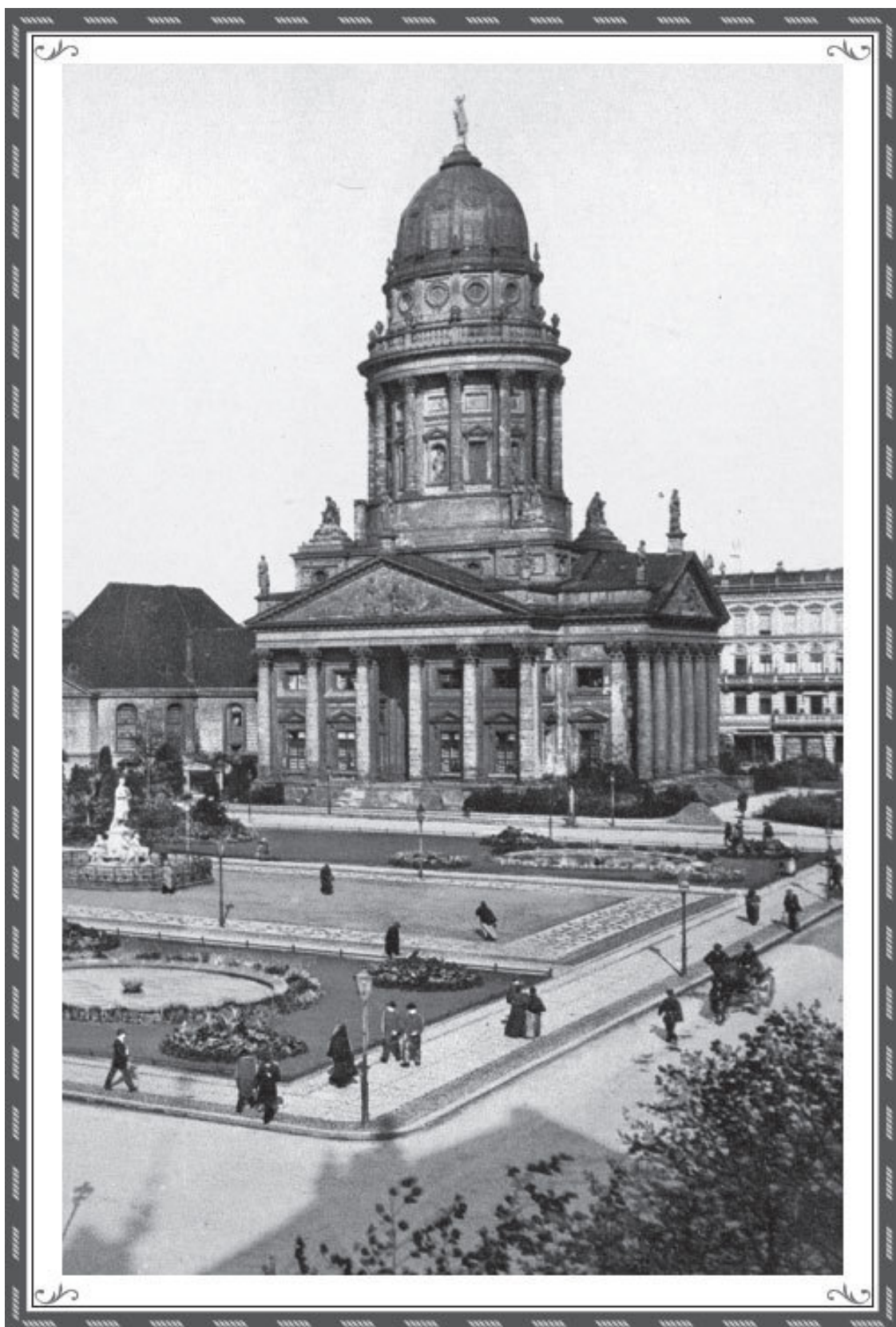
УДК 82-94
ББК 83.3

ISBN 978-5-386-08409-7

© Соловьев Е. А.
© РИПОЛ Классик

Содержание

Вольтер, его жизнь и литературная деятельность	8
Глава I	8
Глава II	17
Глава III	28
Глава IV	35
Глава V	52
Конец ознакомительного фрагмента.	58



И. М. Каренин, Е. А. Соловьев, Э. К. Ватсон Вольтер. Гегель. Шопенгауэр

© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015

Вольтер

Другая сторона английского строя, почетное положение, занимаемое там богатой торговой буржуазией, тоже произвела сильное впечатление на Вольтера. Заметив в своих «Английских письмах», что английские коммерсанты гордятся своим занятием и что младшие сыновья пэров ничуть не стыдятся участвовать в торговых операциях, Вольтер говорит, что во Франции каждый дворянин, ничего не имеющий, кроме громкой фамилии, может твердить: «Человек, как я!», «Люди моего звания» – и относиться с великолепным презрением к коммерсантам. Последние тоже имеют глупость сами себя стыдиться. «Я не знаю, однако, – заключает Вольтер, – кто полезнее государству: напудренный сеньор, знающий с точностью, в котором часу ложится и в котором встает король, или негодник, который обогащает свою страну, посылает из своего кабинета приказы в Сурат и Каир и содействует счастью всего мира».

Гегель

Гегель прямо говорит: «Германская жизнь не может оставаться в том состоянии, в каком находится теперь, потому что все существующее потеряло уже всякую силу и всякое достоинство, превратившись в явление чисто отрицательное».

Что же с этим делать? Так ведь жить нельзя: «ведь в тех, кто разработал внешний мир до степени идеи (попросту – понял его), есть жгучая жажда жизни; такие люди чувствуют потребность выхода из идей в жизнь». Однако обстоятельства времени заставляют сосредоточиться исключительно на внутренней жизни, «а состояние человека, – говорит нам сам Гегель, – которого обстоятельства времени заставляют уединиться во внутренний мир, может быть уподоблено только непрерывному замиранию...». Тяжелое это чувство, особенно для того, у кого есть жажда жизни, есть стремление выйти из этой идеи в действительность!

Шопенгауэр

«Всюду и во всякие времена, – говорит Шопенгауэр, – существовало сильное недовольство правительствами, законами и общественными учреждениями, но происходило это по большей части вследствие того, что люди всегда готовы свалить на правительства, законы и учреждения ответственность за зло, неразлучно присущее человеческому существованию, послушать некоторых велеречивых демагогов.

Мир сам по себе, по своему устройству, прекрасен, создан для всеобщего счастья и благополучия; все же, что встречается дурного в этом прекраснейшем из миров, они приписывают правительствам: если бы последние делали то, что им следует делать, то на земле было бы царствие небесное, то есть все люди могли бы без всякого труда и усилий есть, пить, множиться и умирать, сколько душе угодно».

Вольтер, его жизнь и литературная деятельность

Биографический очерк

И. М. Каренина (Веры Засулич)



Глава I

Детство и молодость Вольтера. – Бастилия и первые литературные успехи. – «Генриада»

Франсуа-Мари Аруэ, будущий Вольтер, родился в образованной и зажиточной буржуазной семье, достигшей этого положения медленно и постепенно усилиями нескольких поколений. В XVI веке предки Аруэ были еще простыми кожевниками в Пуату; в первой половине XVII века дед Вольтера оказался уже крупным торговцем сукнами в Париже. Он дал сыну солидное образование и в 1666 году ликвидировал свои дела. Из рядов промышленной и торговой буржуазии семья Аруэ перешла в ряды служащей буржуазии, чиновников и легистов, близко соприкасавшейся с дворянством. Сын торговца сукнами сделался нотариусом, а впоследствии приобрел должность в государственном казначействе. Он женился

на дворянке, не отличавшейся скромными домашними добродетелями старой буржуазии, но сумевшей сделать дом нотариуса приятным для его знатных клиентов. Он вел дело Сен-Симонов, Сюлли, Комартэнов и пользовался их благосклонностью. Герцог Ришелье крестил его старшего сына. Меньшему, будущему писателю, родившемуся в ноябре 1694 года, судьба послала в крестные отцы аббата Шатонёфа, оказавшего значительное влияние на его воспитание.

Веселый, светский аббат, не имевший с религией ничего общего, кроме получения доходов, был старым знакомым жены нотариуса и другом его дома. Он заинтересовался своим бойким крестником и занялся по-своему его духовным воспитанием. Еще совсем маленьким он заставлял его заучивать «Моизиаду», модное в то время скептическое произведение некоего Лурде. Можно с уверенностью сказать, что ребенок раньше ознакомился с нападками на религию, чем с ее учением. Еще до поступления в училище мальчик преследовал своего старшего брата эпиграммами на его благочестие. Лет 10–12 он уже представлял собою миниатюрного «вольнодумца», и Шатонёф был не прочь похвастаться своим воспитанником перед знакомыми. Он возил его к своей старой приятельнице Нинон де Ланкло, мирно заканчивавшей в это время свою бурную жизнь, пользуясь общей симпатией оппозиционно настроенного общества. Мальчик, никогда не отличавшийся застенчивостью, продекламировал ей «Моизиаду», успел выказать свои блестящие способности и так понравился умной старухе, что она оставила ему по завещанию две тысячи франков на книги. Вольтеру было семь лет, когда умерла его мать. Десяти лет отец отдал его в коллеж Луи-ле-Гран, где под руководством иезуитов воспитывались дети аристократов. Воспитанники, принадлежавшие к наиболее знатным родам, жили там на особом положении: каждый имел отдельную комнату, особого воспитателя и собственного лакея для услуг его маленькой особе. Остальные воспитанники довольствовались одной комнатой и одним воспитателем на пятерых. Вольтер не пользовался, конечно, никакими привилегиями, но это не могло задевать его самолюбия, — он отличался в другом отношении. Благодаря своим способностям, а в особенности умению писать стихи, юный школьник очень скоро сделался маленькой знаменитостью коллежа. Он писал рифмованные строчки и на заданные темы, и для собственного удовольствия, а лет двенадцати уже переводил стихами Анакреона и написал трагедию. Об одном стихотворении юного автора заговорили даже в Париже и Версале. Это было прошение в стихах, написанное им для старого инвалида, желавшего получить от дофина денежное вспомоществование.

Вольтер и в коллеже не только не уронил своей репутации вольнодумца, а, напротив, приумножил ее, и его вольнодумные выходки были, по-видимому, известны самим воспитателям. По крайней мере, первый биограф Вольтера, Кондорсэ, а за ним и другие приводят слова отца Лежэ, предсказывавшего своему воспитаннику, что он «сделается главою французских деистов». Нельзя не заметить, что подобное предсказание могло скорее поощрить, чем испугать такого ребенка, про которого другой его воспитатель, отец Паллу, говорил, что он «пожирал жаждой славы». Несмотря на все это, Вольтеру недурно жилось у отцов-иезуитов; они поощряли его поэтический талант, и с некоторыми из них у него навсегда остались добрые отношения. Учился он вообще прекрасно и на экзаменах получал первые награды. Много прочных дружеских связей завязалось у него и со школьными товарищами. Вместе с ним учились и остались его приятелями братья д'Аржансон, которые оба были впоследствии министрами. Близкие отношения сохранились у него и с Сидевилем, ставшим потом парламентским советником в Руане; но самым близким, самым дорогим другом всей его жизни остался граф д'Аржанталь, «ангел-хранитель», как называл его Вольтер за неусыпную заботливость, с которой тот всегда относился к интересам своего беспокойного друга.

Шестнадцати лет Вольтер окончил курс и снова попал под преобладающее влияние Шатонёфа. Юноша испытал уже нечто вроде авторской славы, был уверен в своем поэтиче-

ском даровании и твердо решил посвятить себя литературе. Отец его считал такое занятие равным полнейшему безделью и верным средством умереть с голоду. Он определил сына в школу правоведения, но варварский жаргон старых французских законов оскорблял литературный вкус Вольтера и внушил ему полнейшее отвращение к выбранной для него отцом карьере. Он совсем не занимался и проводил все время в обществе, в которое ввел его аббат Шатонёф.

Это было избранное светское общество, отличавшееся оппозиционным духом особого рода. К нему принадлежало немало титулованных особ: герцоги Сюлли, принц Конти, маркиз де ла Фар, а главою общества считался герцог Вандом, попавший, впрочем, в ссылку ко времени первого вступления в свет Вольтера. У этого общества была своя определенная окраска, делавшая его неприятным королю. Полнейший скептицизм его членов в области религии и нравственности, насмешки над ханжеством, господствовавшим тогда при дворе, вызывали неудовольствие Людовика XIV. В большей или меньшей степени, все это были «фанфароны порока», как называл старый король будущего регента. В этом-то обществе и зародился тот дух, те нравы, которые стали известны впоследствии под именем «нравов времен регентства». Особую пикантность придавало вольнодумству этого общества то обстоятельство, что большинство его членов принадлежало, подобно Шатонёфу, к духовенству.

Только что появившийся тогда словарь Бэйля, который, опираясь на учение самой церкви, доказывал полное противоречие между разумом и религиозными догматами и, решая, по-видимому, спор в пользу догматов, предоставлял самим читателям выводить противоположное заключение, – пользовался большим успехом у людей, среди которых вращался Вольтер. Но мы ошиблись бы, если б предположили в них вражду к религии, малейшее желание разрушать ее, распространять свои взгляды. Эти остроумные, образованные язычники не задавались никакими общими целями. Наслаждение признавалось ими единственной целью жизни. Единственным требованием, которое они себе ставили, их единственным правилом было: всегда сохранять хорошее расположение духа и шуткой встречать всякое несчастье.

В такую-то компанию попал Вольтер. Его живость, остроумие, дар писать стихи снискали ему всеобщее благоволение. Многие из членов этого общества были знатоками и любителями литературы и сами пописывали куплеты – по большей части игривого свойства во славу вина и женщин и в посмеяние напускной нравственности старого двора и особенно духовников придворных дам. Вольтер быстро вошел в тон своих по большей части пожилых собутыльников и не отставал от других, стараясь за развязностью выражений заставить забыть, что он еще почти ребенок. Не ровней был он этому обществу и в другом отношении. Он – буржуа среди дворян, а такое смешение сословий было еще новостью в конце царствования Людовика XIV. Но Вольтер этого нимало не чувствовал и тотчас поставил себя со всеми на равную ногу с той самоуверенностью, которая никогда не покидала его, с какими бы высокими особами ни сталкивала его судьба.

Не заглядывая в школу, мало бывая дома и проводя почти все время то у Сюлли, то в других аристократических домах, Вольтер был совершенно доволен своей судьбой; но зато отец был очень недоволен его бездельем и образом жизни. Чтобы вырвать сына из светского общества, он придумал послать его в Гаагу к французскому посланнику в Голландии маркизу Шатонёфу, брату тогда уже умершего аббата. Но это насильственное удаление из Парижа было непродолжительным. Скоро – и опять против собственной воли – Вольтер был возвращен к отцу. В дело замешалась любовь к одной соотечественнице, Олимпии Дюнуайе, быстро окончившаяся, по просьбе матери его возлюбленной, высылкой влюбленного поэта из Гааги. Первое время Вольтер ведет из Парижа тайную переписку с Олимпией Дюнуайе и строит всякие планы; но сама барышня, бывшая и старше, и опытнее его, скоро утешилась с другим, а потом вышла замуж. Встретивши ее несколько лет спустя в затруднительном

положении, Вольтер отнесся к ней самым дружеским образом и помогал, чем мог. Вернувшись в Париж, он повел прежний образ жизни, но отец окончательно вышел из себя, прогнал сына из дому и замыслил против него самые строгие меры. Чтобы умиловить отца, Вольтеру пришлось победить свое отвращение к судебному жаргону и посвящать ежедневно по несколько часов практическим занятиям у прокурора, к которому поместил его старый Аруэ. Избавил его от этих несносных занятий знакомый их семьи, интендант финансов Комартэн, принадлежавший к деловой чиновничьей аристократии и потому пользовавшийся большим уважением бывшего нотариуса. Комартэн уговорил старого Аруэ отпустить сына погостить к нему в замок Сентанж, где вдали от влияния светского общества юноша обдумает на досуге выбор карьеры. Но Вольтер уже выбрал свою карьеру, и общество Комартэна только усилило его решимость. Старик Комартэн, прошедший всю жизнь среди выдающихся людей двора Людовика XIV, знал множество анекдотов из жизни этого двора, множество закулисных подробностей различных событий, о которых непосвященная публика могла строить лишь догадки. Его сведения не ограничивались при этом современными ему событиями. Он относился с горячим энтузиазмом к Генриху IV и мог многое порассказать об этом короле, личность которого была заслонена от глаз последних поколений пышной фигурой Людовика XIV. Старый хозяин любил рассказывать, а Вольтер жадно слушал и расспрашивал. Он скоро заразился энтузиазмом Комартэна по отношению к Генриху IV и заразил им впоследствии всех своих современников. В творце Нантского эдикта все нравилось людям XVIII века, начиная с его человеколюбия и религиозной терпимости, граничившей с индифферентизмом, до веселой распушенности нравов, свойственной также и людям этого века.

Здесь, в Сентанже, задумал Вольтер «Генриаду» и, заинтересовавшись вообще историей, начал собирать материалы для своего «Века Людовика XIV».

В сентябре 1715 года старый король умер, и общество, в котором снова вращался вернувшийся в Париж Вольтер, тотчас же умножилось всеми теми людьми, которых вырвала из него благочестивая подозрительность Людовика XIV. Возвратился из изгнания герцог Вандом; был выпущен из Венсенского замка посаженный в него за остроумную выходку аббат Сервиен. Когда последний отправлялся в свое невольное уединение, Вольтер напутствовал его стихотворением, в котором называл веселого аббата «законодателем сладострастия», «повелителем граций и смеха», разделяющим господство с одним только Филиппом Орлеанским. Теперь этот второй «законодатель сладострастия», получивши регентство, стал законодателем также и Франции.

Весело отпраздновавши смерть старого короля, парижане принялись сочинять стихи как против него, так и против регента. «Фанфаронство порока» на высоте трона представляло соблазнительную тему. Сочинил и Вольтер несколько таких куплетов, за которые еще недавно он мог бы попасть в железную клетку. Равнодушный ко всему регент ограничился высылкой поэта из Парижа.



Вольтер в возрасте 70 лет.

Гравюра на фронтиспise «Философского словаря» 1843 года

Это первое изгнание было для Вольтера одним сплошным праздником. Он провел его в замке Сюлли, где собралось многочисленное общество, занятое исключительно устройством всевозможных увеселений, от которых Вольтер отрывался лишь для сочинения посланий к знакомым дамам. Там же, по совету приятелей, он написал послание и к герцогу Орлеанскому, которое заканчивалось просьбою лишь прочесть предлагаемые стихи, чтобы убедиться через сравнение, что их автор не может быть сочинителем отвратительных куп-

летов, которые ему приписывают. Этой тактики Вольтер будет придерживаться всю жизнь. Никогда не подписывая произведений, могущих навлечь неприятности, он при малейшей опасности будет кричать о клевете, бранить на чем свет стоит несчастное произведение, которое ему приписывают, выражать величайшее презрение к его автору и горько жаловаться на злую несправедливость людей, предполагающих, что он может писать такие жалкие вещи. Неизвестно, поверил ли регент невинности Вольтера, но он позволил ему вернуться в Париж и даже дал аудиенцию. Но мир оказался непродолжительным. Впоследствии, когда регент давно умер и льстить ему не было никакой надобности, Вольтер отзывался о нем очень хорошо. В «Истории века Людовика XIV» он говорит, что из потомков Генриха IV регент больше всех походил на этого короля и характером, и даже лицом, но был при этом образованнее и красивее Генриха IV. Автор видит в Филиппе Орлеанском только два недостатка: любовь ко всякой новизне и к удовольствиям, но ни то, ни другое не было большим грехом в глазах Вольтера. Так думал он впоследствии, но в двадцать лет у него было неудержимое стремление оскорблять этого самого регента. Оскорбительные куплеты, за которые он был выслан в 1716 году, написаны в шутовском тоне. Весной 1717 года в Париже обращалось среди публики уже маленькое латинское стихотворение, где в сжатых отрывочных фразах перечислялись бедствия Франции под управлением отравителя и кровосмесителя (молва возводила на герцога эти преступления) и предрекалась ее неизбежная гибель. Такое произведение не могло не вывести из терпения даже и регента. Вольтер имел осторожность пустить в обращение эти опасные строчки во время своего отсутствия в Париже. Но авторское самолюбие оказалось сильнее осторожности. Едва вернувшись от Комартэна, у которого он опять гостил, Вольтер натолкнулся на шпиона, офицера Борегара, притворявшегося его приятелем. В виде новости тот сообщает ему о ходящих по рукам латинских строчках. «Нравятся ли они публике?» – интересуется Вольтер. «Их находят очень умными и приписывают иезуитам», – отвечает собеседник. «Иезуиты рядятся в чужие перья», – возражает Вольтер и сообщает шпиону о своем авторстве. Борегар притворяется, будто не верит: в 28 лет не пишут таких прекрасных вещей. Вольтер горячится и старательно доказывает, что пишут. Посаженный через несколько дней в Бастилию, он при допросах находит в руках начальства подробное изложение всего разговора.

Вольтер просидел в Бастилии одиннадцать месяцев. Он усердно работал в своем уединении: окончил трагедию «Эдип», которую набросал уже более трех лет тому назад, и начал «Генриаду», описал также свой арест и тюремную жизнь в шутовской маленькой поэме «Бастилия» и вообще нисколько не унывал, хотя, кроме потери свободы, было у него в это время и другое горе. У Сюлли он познакомился с одной девушкой, госпожой Ливри. Она играла в домашнем театре Сюлли и была без ума от сцены. Вольтер, уже считавшийся знатоком в этом деле, поправлял ее игру, учил декламации. Учитель и ученица влюбились друг в друга и поклялись любить вечно. Но когда Бастилия разлучила влюбленных, место отсутствующего занял в сердце г-жи Ливри ближайший друг Вольтера и поверенный всех его тайн, молодой де Женонвиль. Этой двойной измене в поэме «Бастилия» посвящена следующая строчка: «Все изменили ему, даже и возлюбленная». Но одной этой меланхолической строчкой и ограничились все жалобы. Выйдя на свободу, Вольтер не упрекает изменников, даже не сердится на них, продолжает заботиться о театральных успехах г-жи Ливри и остается преданным другом Женонвиля до самой смерти этого последнего. Так же поступит Вольтер и тридцать лет спустя при разрыве другой, долгой, несравненно более серьезной связи.

В этой способности почти тотчас же искренно прощать измену и оставаться другом как изменившей женщины, так и своего счастливого соперника, главная роль принадлежит, конечно, личному свойству Вольтера, в жизни которого дружба всегда имела гораздо больше значения, чем любовь к женщине. Но некоторую роль играли при этом также нравы и взгляды того высшего общества, в котором почти с детства вращался Вольтер. В этой среде

любовь не давала никаких прав, не налагала никаких обязанностей, а ревность считалась смешной и постыдной.

Через шесть месяцев по выходе Вольтера из Бастилии, в ноябре 1718 года, была поставлена на сцене его первая трагедия «Эдип». До тех пор поэтический талант молодого автора был известен лишь по мелким стихотворениям, принимавшим чаще всего форму посланий к друзьям и знакомым. Такой род поэзии был вообще в моде среди высшего общества того времени, и даже принц Конти удостоил самого Вольтера посланием, в котором восхвалял его «Эдипа». Трагедия действительно имела огромный успех, и уже раздавались голоса, объявлявшие ее автора преемником Корнеля и Расина.

На отпечатанных экземплярах «Эдипа» в первый раз встречается подпись «Вольтер». Отцовская фамилия не нравилась молодому писателю, но откуда взял он имя «Вольтер», осталось невыясненным. Предполагали, что это название фермы, принадлежавшей его матери. Несмотря, однако, на все позднейшие исследования, такой фермы найдено не было.

Регент пожаловал автору «Эдипа» значительную денежную награду, но в следующем же году опять заподозрил в нем – и на этот раз действительно несправедливо – автора распространяемой против него сатиры. Пока не открылась ошибка, Вольтеру пришлось опять повеселиться вне Парижа, переезжая в новых лучах своей авторской славы из одного замка в другой. Так же весело и разнообразно то в Париже, то в окрестных замках провел он и следующие годы.

В 1722 году умер отец Вольтера. Они редко виделись в последние годы. Старик Аруэ присутствовал, говорят, на представлении «Эдипа», но и громкий успех трагедии не примирил его с избранной сыном карьерой.

В том же году Вольтер предпринял небольшое путешествие в Голландию, куда сопровождал одну из своих светских знакомых, г-жу Рюпельмонд.

Для этой же дамы, обратившейся к своему спутнику за разрешением – или, вернее, за подтверждением – своих религиозных сомнений, Вольтер написал в стихах «Послание к Урании, или За и против». В этом первом антирелигиозном произведении Вольтера, напечатанном лишь десять лет спустя, уже сказывается во всей силе отрицательное отношение автора к догматам католической церкви, но по серьезной горячности тона оно отличается от большинства его позднейших произведений этого рода. «Я хочу любить Бога, – говорит Вольтер в «Послании к Урании», – я ищу в нем отца, а мне показывают тирана». Главнейшим актом этой тирании является в его глазах осуждение на адские муки всех бесчисленных последователей других религий, всех миллионов людей далеких стран и прошлых поколений. В заглавии он обещает говорить и «за», и «против», но несколько строчек, посвященных защите учения церкви, тонут у него в страстных обвинениях.



Вольтер.

Гравюра неизвестного художника

В Брюсселе, по пути в Голландию, Вольтер посетил проживавшего там Жана-Батиста Руссо, к таланту которого он относился с большой симпатией. После очень любезной встречи авторы прочли друг другу некоторые из своих неизданных произведений и тем положили прочное основание очень деятельной литературной войне. Начал печатные нападки Ж.-Б. Руссо. Вольтер всегда утверждал, что он ни на кого и никогда не нападал, пока не затрагивали его или его друзей. Действительно, в своих многочисленных литературных распрях он никогда не был зачинщиком, но зато, раз вызванный на борьбу, никогда не оставался в долгу, а по большей части платил сторицею, язвя противников в стихах и в прозе, в специально посвященных им памфлетах и мимоходом в произведениях, трактующих о совсем

других предметах. Причину враждебности Ж.-Б. Руссо к Вольтеру оба автора объясняют различно. Вольтер думает, что Руссо не мог простить ему остроты, вырвавшейся у него после «Оды к потомству», прочитанной ему автором. «Не дойдет она по адресу», – заметил слушатель. Ж.-Б. Руссо, со своей стороны, ссылается на нечестивое «Послание к Урании», сообщенное ему Вольтером и возмущившее его религиозное чувство. Когда-то вольнодумный составитель эпиграмм, Руссо действительно начал около этого времени настраивать свою лиру на религиозный тон.

В 1724 году появилась поэма Вольтера о Генрихе IV, которая в первом издании называлась «О лиге». Напечатана она была тайно и, по уверению Вольтера, без его ведома, с многочисленными пропусками и ошибками. Но как ни плохо было издание и как ни горько жаловался на него Вольтер, оно тем не менее сильно подняло его славу. Эпос вообще считался в то время высшим родом поэзии. Эпическая поэма казалась даже необходимой для славы нации, и самолюбие французов давно страдало от отсутствия у них таковой. Автор, давший наконец Франции ее поэму, не мог не подняться очень высоко в глазах соотечественников. Теперь это произведение кажется нам скучным, холодным, совсем не поэтическим. Но XVIII век, имевший очень мало чутя к чистой поэзии, век «просвещения», умственной борьбы и пропаганды по преимуществу, высоко ценил свою поэму. Горячий поклонник Вольтера, Кондорсэ в своей «Жизни Вольтера», изданной в 1789 году, соглашается, что некоторые из эпических поэм, считающихся великими, превосходят «Генриаду» разнообразием действия и интересом событий, но ее недостатки в этом отношении с избытком вознаграждаются в другом. Ни одна поэма, говорит он, не включает в себе такой «глубокой философии», такой «чистой морали», ни одна не отличается такой «свободой от предрассудков»... «Из всех эпических поэм одна «Генриада» имеет нравственную цель... потому что она дышит ненавистью к войне и фанатизму, терпимостью и любовью к человечеству». Вот чем восхищается в «Генриаде» человек XVIII века. Он ценит ее, главным образом, как орудие пропаганды, которому форма эпической поэмы придает особенную силу. Уже то одно имело политическое значение, что героем поэмы был творец Нантского эдикта в то время, когда отмена этого эдикта оставалась еще зияющей раной в государственном организме Франции; когда галеры были полны пасторами-гугенотами, тайком пробравшимися во Францию и уличенными в совершении богослужения; когда браки гугенотов не признавались законными и их дети не имели гражданских прав. «Генриада» при таких обстоятельствах была действительно поведью человеколюбия и терпимости.

Глава II

Столкновение с де Роганом. — Опять Бастилия и изгнание. — Влияние Англии на Вольтера. — «Английские письма»

В 30 лет Вольтер достиг, по-видимому, блестящего положения. Как по собственному мнению, так и по мнению значительной части публики, он стоял уже во главе современной французской литературы, причем вращался в самом высшем обществе и, считая своими друзьями титулованных особ, являлся своим человеком в их салонах. Не всем, однако, нравилось его положение в этих салонах. Не нравилось оно любимцам молодого короля, не нравилось недавно приставшему к их кругу кавалеру де Рогану. Кастовая исключительность дворянства была уже настолько расшатана, что позволяла принимать в свое общество поэтов-недворян. С ними обращались как с равными. Светская любезность, светские нравы требовали этого относительно каждого гостя. Но в глубине души их не считали равными.

К тому же Вольтер нимало не подходил к типу скромного поэта, чувствующего милость высоких меценатов. Не то чтобы он был дерзок или заносчив, — он в совершенстве усвоил утонченные манеры того общества, в котором вращался. Но вполне искренно он чувствовал себя не только равным, но высшим существом в каждом обществе, в которое попадал. По своей живости, находчивости, остроумию он не мог оставаться в тени, всюду занимал первое место и слишком часто, по мнению де Рогана и подобных ему людей, ничем не отличавшихся, кроме титулов, приковывал к себе всеобщее внимание. Де Роган решил выбросить его из этого общества. Он начал придирается к Вольтеру и искать с ним ссоры. Быстрый на ответы Вольтер не оставался в долгу. Не находя ничего более остроумного, де Роган пробовал потешаться над именем Вольтера, намекая на его слишком скромное происхождение. «Я не волочу за собою великого имени, — парирует Вольтер, — но делаю честь тому, которое ношу». При одном из столкновений в театральном фойе Роган поднимает трость. Госпожа Лекуврёр, знаменитая актриса и приятельница Вольтера, весьма кстати падает в обморок и тем прекращает ссору. Поразмысливши на досуге, Роган нашел, вероятно, что лакейскими руками гораздо удобнее драться, чем собственными. Такие расправы не были в то время чем-нибудь слишком исключительным в отношениях дворян с писателями.

В конце декабря 1725 года — через несколько дней после ссоры в театре — Вольтер обедал у Сюлли, когда его вызвали под каким-то предлогом на крыльцо. Ничего не подозревая, он вышел, как был, с салфеткой в руке. Четыре лакея кавалера де Рогана тотчас же набросились на него. Одни держали, другие били, а сам де Роган командовал экзекуцией, сидя в карете. Он же и приказал прекратить ее. Вольтер бросается назад к Сюлли. Десять лет он считает герцогов своими друзьями; десять лет он свой человек в их доме. К тому же оскорбление нанесено гостю Сюлли на пороге его дома. Вольтер уверен в солидарности с собой хозяина и приглашает его отправиться вместе к комиссару заявить о произведенном разбое. Сюлли наотрез отказывается принять какое бы то ни было участие в неприятной истории. С этих пор Вольтер уже никогда не встречался с Сюлли. Он бросил всякую мысль о судебном преследовании. Оставалась одна дуэль. Но и в этом деле он не мог надеяться на помощь и сочувствие своих великосветских знакомых. Они действительно не нашли в поступке Рогана ничего особенно предосудительного и за глаза подшучивали над его жертвой. «Удары были плохо даны, но хорошо приняты», — заметил принц Конти, тот самый, который воспевал Вольтера в стихах. Аббат Комартэн, родственник старого Комартэна, у которого не раз гостил Вольтер, находил даже, что дворяне были бы очень несчастны, «если бы у поэтов не было плечей для палок».



*Портрет французского короля Людовика XIV.
Робер Нантейль*

Не только светские знакомые, даже искренние друзья Вольтера были невысокого мнения о его храбрости. Вот как выражается в своих мемуарах маркиз д'Аржансон, школьный товарищ и неизменный приятель Вольтера: «Давно уже замечена разница между умственной и физической смелостью. Они редко соединяются. Вольтер может служить примером. Его душа полна мужества, достойного Тюрена. Он смотрит с высоты, он предприимчив, ничто не может смутить его; но его пугает малейшая опасность, грозящая его телу».

Вольтер действительно не храбрец, он очень мнителен относительно своего здоровья и говорит о близости смерти при всякой болезни. Он, правда, всю жизнь постоянно рискует попасть в тюрьму за свои произведения, но зато и отрекается от них, и кричит о клевете, и старается оградить себя. Но, хотя он и не храбрец, – как все нервные, впечатлительные люди, особенно под действием такого оскорбления, способны становиться на время храбрцами, – вопреки ожиданиям своих знакомых, он упорно и страстно добивается удовле-

ния. В пользу Вольтера свидетельствует в данном случае полиция. Она, в угоду семье Роганов, неотступно следила за ним со дня побоев и доносила о каждом его шаге. Эти донесения, неизвестные современникам, защищают честь Вольтера перед потомством.

Из всех прежних знакомых оскорбленный писатель сохранил в это время отношения с одним Тирио. Это человек из другого мира, бедный клерк, с которым Вольтер сошелся во время своих занятий у прокурора. Тирио – пустой человек, но он не был связан сложными светскими отношениями и остался верен Вольтеру в эти самые тяжелые дни его жизни. И Вольтер никогда не забудет об этом. Ленивый и беспутный жуир, Тирио будет часто ставить его впоследствии в затруднительные положения, будет даже злоупотреблять его доверием, но Вольтер все простит ему и всегда будет о нем заботиться.

Скрывшись из салонов, Вольтер повел какое-то лихорадочное существование. Он беспрестанно менял квартиры, сошелся с бретерами самого низшего сорта и с жаром учился фехтованию. Фехтование и отслеживание Рогана наполняли все его время, но враг избегал встреч. Проходила неделя за неделей, а Вольтер, по донесениям полиции, не только не успокаивался, но его бешенство росло с каждым днем. Ему удалось наконец встретить своего врага в театре и сделать ему вызов. Тирио играл роль секунданта. Роган тотчас же согласился на дуэль и сам назначил встречу на завтрашнее утро; но еще с вечера он известил об этом вызове своих родных. Те подняли хлопоты и добились немедленного заключения Вольтера в Бастилию.

Время своего пребывания в крепости арестант употребил на изучение английского языка. Он предвидел, что так или иначе ему придется оставить Францию; об этом заботились Роганы. Действительно, в мае 1726 года вместе с освобождением из Бастилии ему был объявлен приказ о высылке его из Франции. Доехав до Кале в сопровождении полицейского, он перебрался через пролив, но почти немедленно вернулся тайком в Париж и прожил здесь некоторое время, скрываясь как от полиции, так и от знакомых, убедившись, однако, в бесплодности дальнейших попыток добиться удовлетворения, Вольтер вернулся в Англию и постарался выбросить из головы бесплодные воспоминания о пережитых оскорблениях.

Это было тем легче, что Англия встретила его приветливо. У него был там знакомый, почти друг, лорд Болинброк, материалист и деист, соединявший, по словам Вольтера, английскую ученость с утонченностью французского дворянина. Вынужденный в начале царствования Георга I оставить Англию, Болинброк прожил несколько лет во Франции и здесь познакомился с Вольтером, который не раз гостил в его прекрасном замке Ласурс и посвятил ему свою, тогда еще не напечатанную, «Генриаду».

Вернувшийся в 1723 году в отечество, благородный лорд дружески принял ставшего в свою очередь изгнанником Вольтера и ввел его в круг своих знакомых. В Англии этого времени все поражало и восхищало Вольтера, все было противоположно тому, что он видел на родине. В особенности резко бросалась в глаза ему – вольнодумцу и писателю – разница в положении религии и науки в двух соседних государствах. Во Франции признавалась одна католическая религия, не допускавшая никаких сект, ни малейшего разномыслия, готовая преследовать даже янсенистское учение о предопределении, разделявшееся многими отцами церкви, но не нравившееся иезуитам. В отечестве Вольтера религия еще сохранила свойственное католицизму притязание заключать в себе всю человеческую мудрость и держать все науки за прислужниц теологии, хотя и была уже вынуждена неудержимым ростом светских наук ко многим молчаливым уступкам. В Англии, наоборот, «всякий, – по выражению Вольтера в его “Английских письмах”, – имеет право идти в царствие небесное тем путем, который ему нравится». Английская церковь распадается, по вычислению автора тех же «Писем», на тридцать сект, начиная с господствующей в Англии и Ирландии епископальной, сохранившей большую часть догматов и обрядов католичества, до квакеров, не имеющих никакого духовенства и не признающих никаких таинств. Большинство проповедни-

ков этих сект ненавидят друг друга, по словам Вольтера, «так же искренно, как иезуиты с янсенистами»; пресвитериане называют епископальную церковь не иначе как «вавилонской блудницей»; эта последняя очень бы не прочь преследовать все другие секты, но закон дозволяет их существование, светская власть не является к услугам духовной, и секты живут мирно как между собою, так и с наукой, свободно решающей все вопросы, за исследование которых преследуют во Франции.

В особенности поражала Вольтера свобода исследования Священного Писания. По приезде в Англию он застал еще во всем разгаре полемику, поднятую книгой Коллинза «Об основах христианства». В то же время выходили одна за другой брошюры Вульстона. Эти книги выдержали в самое короткое время по несколько изданий, вызвали массу возражений, перешедших в ожесточенную полемику, но дело обошлось без всякого вмешательства светской власти.

Эта свобода была, правда, безгранична, и если можно было безнаказанно отрицать чудеса, то нельзя было утверждать без серьезных неприятностей необходимость возвращения Англии в лоно католической церкви. Даже Локк в своем трактате о терпимости не требует ее применения к католикам и атеистам. Но атеистов, по мнению Вольтера, было гораздо меньше в Англии, чем во Франции. Он приписывал это различие распространению в первой стране философии Ньютона, «доказавшего существование Бога мудрецам».

Пребывание в Англии имело решающее влияние на всю дальнейшую писательскую деятельность Вольтера. Здесь сложилось в общих чертах все его миросозерцание, лишь в некоторых частностях изменявшееся потом в течение его долгой и деятельной жизни. Все его последующие философские произведения являются лишь приуроченными к надобностям пропаганды комбинациями и видоизменениями идей, взятых им у его английских учителей. Открытие Ньютона он в общих чертах изложил уже в «Английских письмах», а затем популяризировал его философию в отдельном произведении. Огромное влияние на него имел также Локк своим учением о человеческом познании. Из всего содержания своих «Английских писем» Вольтер, по его собственному признанию, всего больше дорожил именно этим «учением о душе», как он называл теорию Локка. До тех пор «резонеры» писали, по его мнению, лишь «романы души», Локк первый «скромно изложил ее историю. Он раскрывает человеку его разум так, как хороший анатом объясняет строение органов человеческого тела». Опровергнув теорию врожденных идей, доказав, что все наши идеи вытекают из деятельности наших чувств, проследив разум во всех его более и более сложных операциях, Локк, говорит Вольтер, «скромно заканчивает предположением, что, быть может, мы никогда не будем в состоянии знать, способно ли чисто материальное существо мыслить или нет». Вольтер оказывается в этом случае решительнее своего учителя. Относительно познания всех первых причин мы должны, как учит скромный Локк, признать свое бессилие и прибегнуть к Богу. Предвидя гонение именно на эту часть своих «Писем», Вольтер заранее переходит в нападение: «Безбожна не теория Локка, а те, кто ограничивает всемогущество Творца, утверждая, что Бог не мог даровать мысли материи».

Здесь же, в Англии, выковал Вольтер свое оружие для позднейшей борьбы с католицизмом. Верующим сыном церкви не был он и раньше, но лишь из творений английских рационалистов познакомился с систематической критикой Священного Писания и церковных догматов.

Обратили на себя внимание Вольтера и политические учреждения Англии, но его отношение к этим учреждениям всегда оставалось двойственным. Его восхищали религиозная терпимость и политическая свобода приютившей его страны, но для него не всегда была ясна полная зависимость этой свободы от формы правления Англии. Он колеблется в своих симпатиях между партиями тори, стремившихся к усилению королевской власти, и вигов с их республиканскими тенденциями. Вначале он склоняется на сторону последних. Это отра-

жается даже на вывезенных им из Англии трагедиях «Брут» и «Смерть Цезаря». В «Английских письмах» он относится с симпатией или, по крайней мере, с полнейшим беспристрастием к английской революции и парламенту. «Англичане, – говорит он, – любят сравнивать себя с древними римлянами, но совершенно напрасно. Ни в дурном, ни в хорошем они на них не похожи. Римляне не знали религиозных войн. Англичане же усердно вешали друг друга и истребляли в правильных сражениях из-за вопросов этого рода... Другое существенное различие между Римом и Англией целиком в пользу последней: плодом гражданских войн в Риме было рабство, а английские волнения привели к свободе». Но в позднейших произведениях Вольтера мы уже не встречаем такого благосклонного отношения к английской революции и не раз наталкиваемся на противоположные отзывы. И это совершенно понятно. Признав за английскими революционерами какую-нибудь существенную заслугу пред человечеством, Вольтер впадал в противоречие с одним из основных положений своего мирозерцания. Прогресс человечества заключался, по его мнению, почти исключительно в успехах разума, философии, искусств и в ослаблении суеверий. Оказывать услуги человечеству могли, по его мнению, лишь люди просвещенные. Борцы же, волновавшиеся, как ему казалось, из-за вещей аналогичных с вопросом о корме для священных кур, совсем не занимались науками. Кроме Мильтона в рядах республиканцев не было замечательных поэтов. К ним не принадлежал ни один из великих философов Англии. «Во времена Кромвеля, – говорит Вольтер в своем «Опыте о нравах», напечатанном лишь в пятидесятых, но написанном в тридцатых годах, – место всякой науки и литературы занимало подыскивание текстов из Старого и Нового Заветов и применение их к политическим распрям и самым жестоким революциям». Науки и искусства были восстановлены реставрацией. С царствованием Карла II совпал высший расцвет английской материалистической философии и быстрое развитие точных наук. Вольнодумство, неверие было в моде при дворе этого короля и тогда-то именно стало ненавистным английской буржуазии, связавшись в ее воспоминании с веселыми французскими нравами, склонностью к католицизму и с урезыванием прав парламента. Нечто аналогичное случилось и с Вольтером. Уничтожение «суеверия» и рост философии тоже связались в его уме с идеей реставрации и вызвали в нем симпатию к Стюартам, доходившую до живейшего сочувствия современным Вольтеру якобитским заговорам.



Вольтер.

Гравюра неизвестного художника

В этом же направлении действовали на Вольтера и его позднейшие связи и отношения: дружба с коронованными философами или желавшими слыть таковыми и вражда к французским парламентам, из которых парижский являлся самым деятельным врагом философских книг и писателей, а провинциальные возбуждали его ненависть безобразными юридическими убийствами. Правда, французские парламенты его времени имели очень мало общего с английскими, но тем не менее они являлись некоторым ограничением королевской власти, лишь мешавшим, по его мнению, необходимым реформам в области правосудия. «У меня недостаточно гибкая спина, — говорит он впоследствии по поводу парламентов, — я согласен сделать один поклон, но сотня поклонов сразу меня утомляет».

Его политическим идеалом осталось в конце концов неограниченное правление мудрого государя-философа, окруженного такими же мудрыми министрами.

Другая сторона английского строя, почетное положение, занимаемое там богатой торговой буржуазией, тоже произвела сильное впечатление на Вольтера. Заметив в своих «Английских письмах», что английские коммерсанты гордятся своим занятием и что младшие сыновья пэров ничуть не стыдятся участвовать в торговых операциях, Вольтер говорит, что во Франции каждый дворянин, ничего не имеющий, кроме громкой фамилии, может твердить: «Человек, как я!», «Люди моего звания», – и относиться с великолепным презрением к коммерсантам. Последние тоже имеют глупость сами себя стыдиться. «Я не знаю, однако, – заключает Вольтер, – кто полезнее государству: напудренный сеньор, знающий с точностью, в котором часу ложится и в котором встает король, или негодья, который обогащает свою страну, посылает из своего кабинета приказы в Сурат и Каир и содействует счастью всего мира».

Сам Вольтер со времени своего английского изгнания принялся усиленно стремиться к обогащению, не пренебрегая для этого никакими денежными и торговыми спекуляциями. «Я встречал слишком много бедных и презираемых писателей, – говорит Вольтер в своих мемуарах, – и давно решил, что не должен увеличивать собою их числа».

Основание его будущему богатству положила сумма в две тысячи фунтов стерлингов, вырученная в Англии от подписки на новое издание его поэмы «О лиге», переименованной затем в «Генриаду». В подписке принимали участие сама королева и чуть ли не вся английская аристократия. Вольтер сделал в этом новом издании некоторые изменения, из которых главнейшее заключалось в том, что Сюлли, игравший как в самой истории Генриха IV, так и в поэме значительную роль, был вычеркнут из нее при втором издании. Вольтер мстил этим единственным доступным ему способом вероломному приятелю, отрекшемуся от него в тяжелую минуту его жизни. Вопреки обычному ходу вещей, предок пострадал в этом случае за грехи своего потомка.

Возвратившись весной 1729 года во Францию, Вольтер, кроме «Английских писем» и двух трагедий, привез также из Англии свой первый исторический труд «Историю Карла XII». Он встретил в Англии одного из приближенных Карла и заинтересовался его рассказами о необычайных приключениях шведского короля. Эти-то рассказы и послужили главным материалом для блестящего произведения, соединяющего весь интерес романа со стремлением к исторической правдивости, поскольку она была возможна при односторонности доступных автору сведений. Рассказ имел значение первого опыта исторического произведения, написанного не для одних ученых и способного заинтересовать широкий круг читателей.

Даже это безобидное произведение пришлось напечатать без «дозволения». Отказ в разрешении издания был вызван дипломатическими соображениями. Предположили, будто польский король Август может обидеться тем, что блестящий соперник затмевает его на страницах истории так же, как затмевал в жизни.

Ровно через год по возвращении Вольтера из Лондона умерла любимица парижской публики, талантливая драматическая актриса г-жа Лекуврёр. При жизни актеры и в особенности актрисы занимали тогда во Франции очень видное и довольно независимое положение, но после смерти судьба их тела вполне зависела от духовенства. Наряду с колдунами, они считались отлученными от церкви и в качестве таковых могли, по желанию духовенства, быть признаны недостойными погребения. Средневековое правило гласило, что тела лишенных погребения выбрасываются на место, куда свозятся нечистоты; но на самом деле их просто зарывали без церковных обрядов в неосвященную землю. Так пришлось поступить и с телом г-жи Лекуврёр. Личный приятель покойной, Вольтер был взбешен таким оскорблением ее памяти и излил свои чувства в полных негодования стихах. Не одно духо-

венство упрекает он в них, а также слабых, легкомысленных французов, покорно несущих ярмо предрассудков. Стихотворение выражало взгляды значительной части публики и было встречено с большим сочувствием. Духовенство, как и следовало ожидать, подняло хлопоты о преследовании автора, которому пришлось скрываться на время, чтобы переждать бурю. Но едва успели рассеяться тучи этой бури, как над головой Вольтера разразилась новая беда. В печати появилось написанное им десять лет тому назад «Послание к Урании», о котором мы уже говорили выше. На этот раз против автора было, по требованию парижского архиепископа, поднято формальное судебное преследование, от которого он кое-как отделался, лишь сваливши свой грех на покойного аббата Шольё. Выдумка была довольно правдоподобной: аббат писал стихи и был известен своим вольнодумством.

Такие беспрерывные столкновения с властями делали положение Вольтера очень шатким. Он задумал упрочить его посредством блестящего театрального успеха. После «Эдипа» ни одна из его трагедий не вызывала восторга публики. Не особенно понравился и «Брут». Масса публики находила, что любовная интрига, считавшаяся главным делом в пьесе, была слишком холодна; люди же с более тонким вкусом утверждали, наоборот, что в эту трагедию вовсе не следовало вводить ненужной любви. Вольтер решил создать трагедию, весь сюжет которой построен на любви и ревности, и переделал во французском вкусе «Отелло» Шекспира. Успех «Заиры» – так назвал он трагедию – превзошел все ожидания. Публика проливала обильные слезы, что считалось лучшим признаком достоинства трагедии.

Неугомонный автор быстро сумел, однако, заставить публику забыть благоприятное впечатление. Выпущенная им в 1733 году – опять без «дозволения» – книжечка носила заглавие «Храм вкуса» и рассказывала, наполовину в стихах, наполовину в прозе, о путешествии автора в этот храм, где «Критика» произносит свои приговоры над писателями, живыми и умершими. Это художественная оценка литературных произведений, часто меткая и остроумная, в то же время была строгой, но в большинстве случаев беспристрастной. Автор и себе самому делает от лица «Критики» несколько замечаний и дает ехидный совет: не забывать, что написал освиштанную публикой трагедию «Артемира». Критика совсем не затрагивает чьих-то мнений. Автор заставляет даже, для наглядности, иезуита дружески разговаривать в «Храме вкуса» с янсенистом.

Хотя произведение было напечатано тайком, но на этот раз на автора обрушилось не правительство, а масса писателей и читателей. Одни сердились за замечания «Критики», другие – за то, что автор совсем не упомянул их, а следовательно, не заметил их присутствия в литературе. Читатели сердились за своих любимых авторов. Почти немедленно появилось несколько пародий на «Храм вкуса», написанных с единственной целью – выругать Вольтера. В одной комедии насоливший всем критик выведен даже в виде шута.

Поставленная Вольтером в январе 1734 года новая трагедия «Аделаида Дюгесклен» была, по свидетельству современников, освиштана публикой именно в отместку за «Храм вкуса». По крайней мере, возобновленная много лет спустя, она имела успех.

Все эти бури оканчивались более или менее благополучно, но с самого приезда из Англии Вольтер «готовил» для себя гораздо более серьезную опасность. Говоря об английских впечатлениях Вольтера, мы уже касались содержания «Английских писем». Они были давно написаны, но затруднения, встречаемые на каждом шагу при печатании самых невинных вещей, ясно показывали, что такого рода произведения нельзя обнародовать, не решившись заранее на арест или бегство. С другой стороны, Вольтер положительно не мог не поделиться с соотечественниками теми глубокими и сильными впечатлениями, которые оставили в нем английская жизнь и результаты английской мысли. Стараясь придать по возможности невинный вид своему произведению, он нарочно приписал квакерам, которым посвящены первые письма, побольше комических черт и даже читал самые смешные выдержки министру Флэри. Престарелый кардинал удостоил посмеяться, но Вольтер и сам отлично знал,

что это еще ровно ничего не значит. «Письма» были отпечатаны тайком в Руане, где у автора был сообщник, его школьный товарищ Сидевиль, но все издание хранилось под замком, и ни один экземпляр не попадал пока к публике. Отзывы француза об англичанах могли, однако, заинтересовать также и англичан, поэтому Вольтер издал сперва английский перевод своих писем. Англичане остались, в общем, очень довольны произведением, хотя и отметили в нем несколько фактических неточностей. Но, кроме английских похвал, перевод принес Вольтеру также усиленный надзор в отечестве и формальное запрещение издавать «Письма» на родном языке. Голландские издатели, наживавшиеся от продажи запрещенных во Франции книг, тоже не дремали и оказались даже бдительнее французских властей. Самой маленькой неосторожности – отданного в переплет экземпляра – было достаточно, чтобы в Амстердаме появилась точная подделка руанского издания, начавшая быстро распространяться во Франции.

Парижский парламент осудил книгу как «скандальную, противную религии, добрым нравам и уважению к власти» на сожжение рукою палача у подножия большой лестницы здания парламента. Склад руанского издания был разыскан и конфискован; издатель посажен в Бастилию. Приказ о помещении туда же и самого автора был послан в Монж, где Вольтер праздновал свадьбу своего приятеля герцога Ришелье. «Ангел-хранитель» Вольтера, д'Аржанталь, успел, однако, вовремя предупредить своего друга, и 10 июня 1734 года, когда «Английские письма» торжественно сжигались в Париже, Вольтер был уже за границей.

Во Франции того времени за книги преследовали авторов, издателей, продавцов, но не читателей. Главную массу читателей составляли еще высшие классы; большими охотницами до запрещенных книг были светские дамы, беспокоить которых никому не приходило в голову. Поэтому сожжение и преследование раздражали авторов, лишая их заработка и безопасности, обогащали голландских издателей, поднимая цену на их товар, но нимало не мешали, а скорее содействовали распространению произведений.

Не помешало сожжение и распространению «Английских писем» и их громадному влиянию на французское общество.



*Вольтер за рабочим столом.
Гравюра Локателюса*

В конце XVII – начале XVIII века французы очень мало знали своих заморских соседей. Английский язык был почти никому не знаком. Некоторые ученые трактаты если и переводились, то читались только специалистами. «Английские письма», умышленно подчеркнувшие резкие противоположности между двумя нациями – и всегда в пользу англичан, –

заинтересовали всех. Дамы принялись изучать английский язык; все сколько-нибудь выдающиеся люди спешили побывать за Ла-Маншем. Английская философия вытеснила постепенно когда-то будивший мысль, а теперь застывший картезианизм. Скептицизм Бойля, разрушавший верования, но не дававший ничего определенного, заменился под влиянием английского материализма законченной философской системой, перешедшей постепенно от деизма к открытому атеизму. Английская философская мысль «переделала» французскую, но «переделала» ее в нечто совершенно с собою несходное. Аристократический, придворный, непопулярный английский материализм превратился во Франции в разрушительную философию, ставшую катехизисом буржуазии в ее борьбе со старым порядком, – борьбе, поразительно аналогичной с предшествовавшей борьбой английской буржуазии, но уже не опиравшейся на пророков и на псалмы Давида.

Но до этой переработки английского деизма во французский атеизм, впоследствии сильно огорчавший Вольтера, оставшегося верным деизму, еще далеко.

Глава III

Маркиза Дю Шатле. – Сирей. – Оптимизм Вольтера. – Его увлечение естественными науками. – Трагедии. – Знакомство с Фридрихом II

У скрывшегося в Лотарингию автора «Английских писем» в Париже остался недавно приобретенный, но горячо и страстно преданный ему друг, маркиза Дю Шатле, любовь к которой была в жизни Вольтера его единственной серьезной привязанностью к женщине.

После измены г-жи Ливри он был некоторое время увлечен любовью к жене маршала де Виллара. Знатная дама позволяла ему ухаживать за собою и изливать свои чувства в стихах, но и только. Особенно страдать от любви Вольтер никогда не был расположен и скоро вылез из этой неразделенной страсти. Но в женском обществе, в женской заботливости он всегда нуждался и время от времени устраивал себе нечто вроде домашнего очага у той или другой из знакомых дам. Одно время Вольтер был своим человеком в доме маркизы де Мимер, затем сблизился с президентшей де Бернье. Любовь далеко не всегда играла роль в этих сближениях. Ее не было и следа в его дружбе с графиней Фантен-Мартель, умной пожилой женщиной, в доме которой он жил по возвращении из Англии в те промежутки между бегствами, которые ему удавалось проводить в Париже.

Светская жизнь Вольтера по замкам и салонам французской знати не возобновилась более по возвращении на родину. С некоторыми из прежних своих знакомых он порвал навсегда, с другими встречался лишь изредка. Тем сильнее сблизился он с немногими оставшимися у него друзьями: д'Аржанталем, Сидевилем, а также с герцогом Ришелье и некоторыми другими.

В 1732 году Вольтер усиленно твердит о том, что пора любви для него уже прошла (ему 38 лет), остались только дружба да работа. Вместо любовных посланий он пишет теперь и передает г-же Мартель, с верхнего этажа на нижний, шуточные стихи, в которых, расхваливая свою хозяйку, говорит, что ему потому хорошо живется в ее доме, что с ним вместе живет здесь его единственная возлюбленная – свобода и ее сестра – веселость. В это время он встретился с Эмилией Дю Шатле.

Урожденная де Бретейль, она еще ребенком в доме отца видала Вольтера, который был старше ее на двенадцать лет и тогда, конечно, не заметил девочки. В 1725 году она вышла замуж за маркиза Дю Шатле. Вышла без любви – и через два-три года, по неизменному правилу тогдашнего высшего общества, уже сохраняла с мужем лишь чисто формальные, вполне приличные отношения номинальных супругов, связанных общим именем, имущественными отношениями, а также двумя детьми, рожденными в первые годы брака. Муж и жена, впрочем, ни в каком случае не подходили друг другу. Во всех описаниях внутренней жизни этой семьи, ставшей знаменитой со времени присоединения к ней Вольтера, маркиз не играет никакой роли. Добродушный, ограниченный человек, любящий военную службу, охоту и ничего больше, он никому не мешает и никого не интересуется.

Эмилия Дю Шатле была совсем другим человеком. Не говоря уже о ее умственном превосходстве над мужем, она обладала горячим, любящим сердцем. Относясь к браку так же, как и все современницы ее круга, она любила не так, как они. После замужества и еще до встречи с Вольтером у нее был роман, закончившийся быстрым разрывом. Разрыв был в порядке вещей, но он довел Эмилию до серьезной попытки самоубийства, что уж было вовсе не в нравах ее общества.

Оправившись от этой истории, она набросилась с новым жаром на науку, которой была далеко не чужда и прежде. Еще в доме отца она изучила латинский язык и основательно ознакомилась с римскими классиками. Позднее она пристрастилась к математике и метафизике.

И это был не дилетантский интерес к наукам, значительно распространенный среди образованных женщин XVIII века. Г-жа Дю Шатле трудится упорно, серьезно и внимательно, излагает Лейбница и переводит Ньютона.

Ее вторичная встреча с Вольтером относится к 1732 году, а летом 1733 года они уже принадлежат друг другу душой и телом, и обоим кажется, что их прежние связи не были любовью, что они любят в первый раз.

Вольтер действительно любит ее иначе, чем своих прежних возлюбленных. Он снова пишет любовные послания, но в них нет и тени той цинической игривости, которая проявлялась в его прежних произведениях этого рода. С любовью к ней у него соединяются глубокое уважение, восхищение ее умом и характером. Это не только любовь, но вместе и умственное товарищество. Кое в чем они были равны и могли быть товарищами, у нее не было, конечно, и сотой доли его таланта, его разносторонности, его горячей, тотчас же выливающейся на бумагу отзывчивости на все совершающееся в жизни и в духовной сфере. Но по способности усвоения отвлеченнейших результатов философской мысли она была равна ему. Познаниям же в некоторых областях естественных наук и в высшей математике, изученной ею под руководством лучших специалистов того времени, она превосходила своего друга.

В самом начале их союза Вольтер спешит поделиться с Эмилией своими познаниями и интересами. Он перечитывает с ней своих любимых английских философов и поэтов: Ньютона, Локка, Поупа. Но их слишком часто разлучают беспрерывные истории, связанные с его литературными произведениями. С женской нежностью г-жа Дю Шатле берет на себя заботу о своем слишком горячем, предприимчивом и неосторожном друге. Ее терзает мысль о вечной грозе, под которой он живет, думая лишь о том, чтобы вывернуться из данного затруднения, и в то же время подготавливая своей усиленной умственной производительностью новые опасности на завтра и послезавтра. «Его нужно вечно спасать от него же самого», – жалуется она друзьям. Для этого, по ее уверению, ей нужно «больше дипломатических способностей, чем папе для управления всем христианским миром». Повторяющиеся время от времени внезапные бегства Вольтера – одного, по тогдашним дорогам, при его слабом здоровье – ей просто не выносимы.

На границе Лотарингии, в пустынной гористой местности, у маркизы Дю Шатле есть замок – Сирей, правда, плохо приспособленный для цивилизованной жизни, но в высшей степени удобный по своему положению. Друзья советовали Вольтеру не возвращаться во Францию, но Эмилия горячо восстала против этого плана. Ее положение не позволило бы ей последовать за Вольтером в Голландию или Англию. В Сирее же она решила сама поселиться с ним. А безопасность там будет полная: граница в двух шагах. Кроме того, она надеялась, что под ее бдительным надзором он не будет совершать неосторожностей и во всяком случае рукописи не будут похищаться и попадать в печать без воли автора.

К этому времени у Вольтера были уже значительные денежные средства. Ни усиленная литературная деятельность, ни преследования не помешали ему позаботиться о приращении своего капитала. Удачные спекуляции успели увеличить первоначальную сумму в несколько раз. Он не задумался поэтому приняться за отделку замка за свой счет. При этом не были забыты приспособления для естественнонаучных занятий: физический кабинет и небольшая лаборатория. В одной из галерей замка была также устроена маленькая сцена для спектаклей.

С 1734 года Сирей становится на пятнадцать лет сперва постоянным, а потом главным местом жительства Вольтера. На всем этом периоде лежит отпечаток влияния г-жи Дю Шатле. Опасные литературные труды хотя и пишутся, но не публикуются. Вольтеру пришлось, правда, еще раз бежать на время в Голландию; но навлекшее на него немилость стихотворение не было одним из тех произведений, печатая которые Вольтер рисковал сознательно. «Светский человек» («Le Mondain») казался ему совершенно невинным. Это

стихотворение включает в себе сопоставление первобытного райского состояния с жизнью современного светского человека, окруженного всеми удобствами и роскошью. Автор благодарит природу за то, что она произвела его на свет в нынешний век, на который сыплется столько обвинений. Эти-то безобидные предположения дали повод духовенству добиться от кардинала Флери преследований их автора.

Стихотворение «Светский человек» проникнуто полнейшим оптимизмом. Им же дышат и другие произведения сирейского периода жизни Вольтера. В это время зло в мире представлялось ему обильно перемешанным с добром. В «Трактате о метафизике», написанном в 1734 году, Вольтер говорит, что мы не можем даже судить о совершенстве или несовершенстве мира, так как не имеем возможности представить себе ничего лучшего. В сказке «Бабука, или Мир, каков он есть» гений Итуриэль колеблется сперва между двумя мерами: наказанием Персеполиса (Парижа) ради его исправления и совершенным уничтожением этого безрассудного города. Но, выслушав доклад посланного туда Бабука, гений решает не только не уничтожать Персеполиса, но даже не исправлять его, а оставить таким, каков есть, так как в нем «если не все совершенно, то все сносно». Еще решительнее выразился этот оптимизм в напечатанной в 1738 году дидактической поэме «Речи о человеке», написанной в подражание английскому поэту Поупу, одному из главных «представителей оптимизма». В прозаическом перечне содержания поэмы автор говорит, что «в первой речи доказывается равенство состояний, вытекающее из того, что с каждой профессией связаны известные доли добра и зла, уравнивающие друг друга». В самой речи сообщается, что короли и маршалы Франции сильно скучают, ибо если у королевских любимцев много льстецов, то много и завистников. Пьеро и Пьеретта, работающие в полях, правда, «зябнут зимой и жарятся летом, но они весело поют за работой, хотя и грубыми, фальшивыми голосами, а мир, спокойный сон, сила и здоровье вознаграждают их за труд и бедность».

Невольно вспоминаются при этом знаменитые описания бедственного положения земледельческих рабочих Франции XVIII века. Но Вольтер и не думает всматриваться в это положение. Он говорит о Пьеро и Пьеретте общие, ходячие фразы, которые нужны ему только для доказательства своей тезы. Покончивши с этими счастливыми в первой речи, он к ним больше не возвращается и в остальных шести речах занят исключительно людьми высших классов, которых поучает способам поменьше скучать и увеличивать свое счастье. Впрочем, даже такое мимолетное появление Пьеро и Пьеретты составляет большую редкость в произведениях нашего автора. По большей части он их вовсе не касается. Он изменит, как мы увидим впоследствии, свое мнение о мире и перестанет находить его удовлетворительным, но низшие классы и тогда останутся вне поля его зрения. В нем нет вражды к этим классам, свойственной европейскому буржуа XIX века. Не сознательный эгоизм, не жестокость заставляют его игнорировать положение трудящихся масс. Сделавшись впоследствии землевладельцем, Вольтер явится самым заботливым, самым щедрым благодетелем всех окружающих бедняков. Он всегда был очень добр с прислугой, со всеми слабыми, зависящими от него существами, – был очень добр даже с животными. Но в то же время низшие, необразованные люди занимали в его мирозерцании немного больше места, чем животные. Ко всем классам, причастным к цивилизации,двигающим ее вперед или тормозящим, подобно духовенству, он становится в те или другие определенные отношения: дружит с ними или воюет. К остальному человечеству, непричастному к цивилизации, он равнодушен. Это для него инертная, бесформенная масса, не могущая ни помешать, ни помочь прогрессу, а лишь пассивно подчиняющаяся его результатам. Поэтому-то он и не думает о ней. Люди низших классов для него как бы не совсем люди, а – *так*, как выразился граф Толстой, говоря о своем мирозерцании до момента перехода в новую веру.

С 1734 по 1739 год Вольтер прожил почти безвыездно в Сирее. Понемногу в пустынный замок стали наезжать гости. Известные ученые Мопертюи, Клэро, Бернулли гостили

поочередно в Сирее. Немецкий ученый, последователь Лейбница Кёниг прожил там даже целых два года, помогая хозяйке в ее ученых трудах. Итальянец Альгаротти привозил на ее суд свою популяризацию философии Ньютона, предназначенную «для дам». Заезжали в Сирей и знакомые дамы, но гораздо реже, – дамам Эмилия вообще не нравилась.

Зиму 1738–1739 года там прогостила г-жа Графини, оставившая в своих письмах подробное описание как самого замка, так и его обитателей. В течение дня гости были обыкновенно предоставлены самим себе. Вольтер и г-жа Дю Шатле проводили все дни, а частью и ночи за письменными столами. Гости пользовались их обществом за поздним обедом и час-другой вечером.



Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке.

Гравюра Николая Уткина по оригиналу Владимира Боровиковского

Главным предметом занятий Вольтера и его божественной Эмили (так называл он ее в стихах и письмах) были точные науки, к которым имела пристрастие маркиза, не любившая ни стихов, ни истории – любимых предметов Вольтера. Одно время он до того поддавался влиянию своей ученой подруги, что писал стихи только в постели, во время своих частых болезней, никогда, однако, не мешавших ему работать. Здоровый же, он занимался физикой – представил Академии наук мемуар «О природе и распределении огня», – а также химией и биологией. Однажды он собственноручно обезглавил до сорока улиток, чтобы проверить одно мнение итальянского ученого.

Друзья в Париже, куда доходили слухи об этих занятиях, боялись уже, что Вольтер совсем отдастся естественным наукам и забросит все остальное. Но увлечение было непродолжительным, да и в самую горячую пору его он все-таки, по его выражению, «ухаживал сразу за всеми девятью музами», а потом успел даже привлечь саму Эмилию к изучению истории. «Основы философии Ньютона» были главным произведением, появившимся из-под пера Вольтера в первые годы пребывания в Сирее. Их печатание опять встретило затруднение, вытекавшее на этот раз из чисто философских соображений. Канцлер Д'Агессо, заведовавший делами Печати, был человек ученый и именно поэтому очень твердый в своих научных взглядах. Он был ярким картезианцем и не желал содействовать распространению ложной, по его мнению, доктрины. Пожинать не омраченные придирками лавры Вольтеру удавалось, да и то не всегда, только на сцене. Поставленная в 1736 году его трагедия «Альзира» имела значительный успех.

С 1739 года кончается затворничество в Сирее. Осень этого года и половину следующего Вольтер и супруги Дю Шатле прожили в Брюсселе, а потом проводили зимы в Париже, возвращаясь в Сирей на лето. С этих пор к безоблачному счастью маркизы начинает примешиваться горечь: божественная Эмилия ревнует. Не к женщине, – в этом отношении Вольтер не давал ей ни малейшего повода, да и вообще никогда первый не изменял никакой женщине. Предметом ее ревности является прусский король Фридрих II. Уже с 1736 года между ним – тогда еще кронпринцем – и Вольтером завязалась оживленная переписка. Принц оказался горячим поклонником Вольтера. О личном знакомстве со своим кумиром при жизни строгого отца нечего было и думать, но он не упускал ни одного случая выразить свои чувства «божеству Сирея» и отправлял ему на прочтение все свои произведения в стихах и в прозе. Вольтер был еще в Брюсселе, когда 31 мая 1740 года Фридрих вступил на престол. Уже в июне, объезжая свои западные владения, он обещал Вольтеру пробраться инкогнито для свидания с ним в Брюссель, но вместо того вызвал его в Клэве, где остановился, задержанный лихорадкой. В первый раз знаменитый писатель увидел своего коронованного поклонника в комнатке без всякой мебели, дрожащим под плохим одеялом в сильнейшем припадке лихорадки. Тем не менее, когда пароксизм миновал, король оделся, и за долгим ужином они основательно разобрали, по словам Вольтера, вопросы о бессмертии души, свободе воли и прочем, и прочем. За первым свиданием в том же году последовало второе, затем в 1743 году – новое продолжительное пребывание у Фридриха. Во время этих отлучек Эмилия – сама не своя. Ей все кажется, что Вольтер останется в Пруссии, куда она не сможет и не захочет за ним последовать. Письма Вольтера кажутся ей слишком краткими и холодными; она заранее протестует против величайшей, по ее мнению, подлости: променять женщину на короля. Но Вольтер и не думает ни менять Эмилию на Фридриха, ни, тем более, предпочесть Берлин Парижу, в котором чувствует себя наконец в безопасности. Случилась, правда, маленькая неприятность с трагедией «Магомет». Она была принята к постановке, но затем, по инсинуациям литературных врагов Вольтера, Флэри одумался и посоветовал автору –

а совет в данном случае равнялся приказанию – снять ее со сцены как нарушающую уважение к религии. Вольтер надумал напечатать свою трагедию с посвящением папе: «Главе истинной религии произведение, направленное против основателя ложной религии». Папа принял посвящение, поблагодарил автора очень любезным письмом, благословил его и прислал золотую медаль со своим портретом. На самом деле лишь неверующее общество, для которого равны все религии, могло увидеть в «Магомете» нападки на христианство. Благочестивым людям трагедия, наоборот, должна была казаться благочестивой и назидательной. Магомет, правда, изображен в ней самыми отвратительными чертами и в заключительном монологе сам называет себя обманщиком, злодеем и т. д. Но в трагедии нет и тени какого-нибудь намека на христианство, нет ни малейшей аналогии с событиями Священной истории. Ненависть же к «неверным» в былые, верующие, времена всеми считалась благочестивым чувством; нападение на ложную религию – защитой истинной. С этой точки зрения, очевидно, взглянул на дело и папа. Но Флёрі думал иначе и не взял назад своего запрещения. Зато в 1743 году Вольтера ждало в театре такое торжество, какого он еще ни разу не испытывал. Мы говорим о представлении «Меропы». В неописуемом восторге публика вызвала автора, что было необычно и явилось порывом непосредственного чувства. Он показался в ложе своей старой знакомой г-жи де Виллар, присутствовавшей на представлении со своей молодой невесткой герцогиней де Виллар. Желая тут же, на месте, чем-нибудь вознаградить автора, публика шумно потребовала, чтобы молодая герцогиня немедленно поцеловала его, что та и исполнила ко всеобщему удовольствию.

Из всех произведений Вольтера трагедии доставили ему больше всего авторских торжеств и славы при жизни. До самой смерти его называли автором «Меропы» и «Заиры», а никак не тех философско-полемических произведений, которые наложили такую неизгладимую печать на все суждения, на всю мысль XVIII века Франции – да и не одной Франции. Друзья и рьяные враги находили, правда, и в его трагедиях кое-какие намеки на вред фанатизма и пользу терпимости, но эти намеки были заметны лишь людям, заранее знакомым со взглядами автора. Мы говорили уже о «Магомете». Также и знаменитая фраза против священников в «Эдипе» [*Les prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense... и т. д.*] казалась антирелигиозной лишь потому, что была написана врагом духовенства. То же самое говорит об оракулах Иокаста в трагедии Софокла, сюжет которой заимствовал Вольтер. Но развязка трагедии как в греческом оригинале, так и во французской переделке показывает, как жестоко ошибалась Иокаста, как правы священники и верны предсказания оракулов. Прозаические произведения Вольтер писал для пропаганды своих идей, для осмеяния того, что считал злом, для побиения своих врагов. Трагедии писались им исключительно для славы, для аплодисментов и слез публики. Он тщательно подмечал, чем можно угодить этой публике, и всегда готов был по несколько раз переделывать свои трагедии по ее «указаниям». В предназначенных для театра произведениях Вольтер не проявил и той небольшой способности к художественному творчеству, которая заметна в его комической поэме «Девственница» и в его сказках. Эти последние он писал в большинстве случаев с целью разъяснить читателям ту или другую идею, а между тем небрежно и мимоходом он придает в них некоторым из своих героев живые, определенные физиономии, хотя и очерченные лишь в самых общих контурах. В его трагедиях нет и таких физиономий. В них есть только положения – иногда действительно трагические – да звучные стихи, в которых действующие лица высказывают мысли и чувства, соответствующие положениям. В общем, Вольтер является в трагедиях подражателем Корнеля и в особенности Расина, а в некоторых частностях довольно робким новатором. Он находил, например, нелепым обычай вводить любовь в каждую трагедию, хотя бы в виде эпизода, почти не связанного с главным действием. Он думал, что любовь должна или составлять весь интерес трагедии, или совсем отсутствовать. Сообразно с этим он действительно устранил любовь из трех своих трагедий: «Меропы», «Ореста» и «Смерти

Цезаря». Но во многих других она и у него играет роль холодного, совсем ненужного эпизода.

В Англии Вольтер заинтересовался Шекспиром. Он находил в нем смесь достоинств с чудовищными недостатками. Нарушение всех трех единств, частые убийства на сцене и в особенности грубые разговоры ремесленников, шутов и солдат – личностей неприличных в трагедии – внушали ему глубочайшее отвращение. Но в то же время ему нравились многие монологи у Шекспира и в особенности сложность и живость действия, вместо которого на французской сцене допускались лишь рассказы о событиях, происходящих за сценой. В трагедиях Вольтера действия гораздо больше, чем у его предшественников, но знаменитые единства часто делают совершенно невероятными многочисленные происшествия, совершающиеся в одной и той же комнате в три часа дня. У Шекспира заимствовал Вольтер сюжеты «Заиры» и «Смерти Цезаря», а также многие черты и сцены, рассыпанные в других его трагедиях. Под конец жизни, возмущенный тем, что переводчики Шекспира осмелились поставить его выше французских трагиков, он раскаялся и в тех одобрительных отзывах, которые делал прежде. «Предпочитать чудовище Шекспира – Расину! Я скорее согласился бы променять Аполлона Бельведерского на Христофа (грубая статуя, отличившаяся колоссальными размерами. – *Авт.*)», – говорил Вольтер Дидро. «А что бы вы сказали, – возразил Дидро, – если бы этот громадный Христоф, совсем живой, расхаживал по улицам?»

Глава IV

Вольтер – придворный. – Смерть Эмили Дю Шатле. – Берлин. – Дружба и ссора с Фридрихом II. – Арест во Франкфурте. – Исторические произведения Вольтера. – «Орлеанская девственница»

В 1744 году Вольтер не был уже гонимым писателем, как десять лет тому назад, но не был еще и официально признанной знаменитостью Франции. Он был уже членом почти всех европейских академий, но тщетно пытался попасть во французскую, как вдруг в 1745 году на него сразу посыпались всевозможные официальные почести.

Умерла Шатору, гласная фаворитка короля, и ей предстояло найти преемницу. Это была в то время очень важная должность во Франции, важнее министерского портфеля. О ней давно уже мечтала и поверяла свои мечты Вольтеру его хорошая знакомая, молодая красавица г-жа Этиоль. Мать – жена крестьянина и содержанка генерального фермера – воспитала ее в том убеждении, что ей предстоит быть фавориткой короля. Мечта казалась почти неисполнимой, так как г-жа Этиоль не имела доступа ко двору, а места признанных фавориток занимались обыкновенно придворными дамами. Но, когда открылась вакансия, мать и дочь так энергично взялись за дело, красавица так упорно попадалась на глаза королю при всех его выездах, что быстро заняла желаемое место повелительницы короля и Франции. Ставши маркизой де Помпадур, она не забыла своего старого знакомого. По ее желанию ему было поручено написать стихи для оперы, которая должна была даваться в придворном театре по случаю бракосочетания дофина. Вольтер написал «Наваррскую принцессу», за что, к немалому огорчению многих родовитых дворян, был сразу пожалован офицером двора Его Величества с двадцатью тысячами франков жалованья и сделан придворным историографом, а при первой открывшейся вакансии был избран, наконец, и в члены Французской академии. Милости были так велики и внезапны, что Вольтеру стало казаться весьма возможным получить вскорости и министерский портфель.

Начинается придворный период жизни Вольтера, недолго длившийся, к счастью если не для него, то для его читателей, а в известном смысле и для всего человечества. Он сам называл свою «Наваррскую принцессу» ярмарочным фарсом, а излишней скромностью Вольтер никогда не страдал. Но не больше литературных достоинств и в других его произведениях того времени. Все это чисто придворная поэзия, вся сотканная из лести, преподносимой под различными соусами. Такова поэма, прославляющая битву при Фонтенуа. Она требовала большого искусства, так как в ней нужно было назвать в стихах до сотни имен главных участников битвы, сказать каждому по комплименту и при этом не забывать беспрестанно возвращаться к прославлению короля. Затем пишется ода на милосердие Людовика в победе. Наконец, сооружается пятиактная опера «Храм славы», в которой Людовик XV выводится под именем Траяна. Даже в стихотворных посланиях к третьим лицам: Ришелье, герцогине де Мэн и другим, – Вольтер прославляет теперь короля, и только короля. Он – и Траян, и Антоний, и Марк Аврелий. В послании к герцогине де Мэн Людовик XV оказывается даже Александром Македонским. Вольтер остерегался только называть «христианнейшего короля» своим любимым историческим именем императора Юлиана. Это имя он с гораздо большей искренностью преподносил Фридриху II.

Но как ни трудился Вольтер, совсем непоэтический предмет его – тоже непоэтических, хотя и стихотворных – восхвалений оставался холодным, как лед. Король терпел до поры до времени этого нового придворного, но почти не удостоивал скрывать своего отвращения и не говорил с ним ни слова. После представления в придворном театре «Храма славы» Воль-

тер спросил у Ришелье, стоявшего рядом с королем: «Доволен ли Траян?» Вопрос предназначался для королевских ушей, но Траян молча отвернулся от поэта.

Кроме холодности Траяна, была у Вольтера и другая, редко покидавшая его, но теперь особенно чувствительная забота: это масса сыпавшихся на него пасквилей. Среди множества литературных врагов у Вольтера всегда имелся какой-нибудь один главный. Первым из таких врагов был Ж.-Б. Руссо, затем – аббат Дефонтен, доходивший до чисто личных клевет, уверявший, что Вольтер – вор, блюдолиз, что его отец был крестьянином и прочее. Едва в 1745 году умер Дефонтен, на смену ему явился Фрерон и не отставал уже от Вольтера в течение всей его жизни. Теперь в пасквилях осмеивались придворные успехи нового камер-юнкера и его вступление в Академию. Вольтер затевает процессы, добивается запрещения позорящих его произведений и даже ареста одного из продавцов запрещенных пасквилей. Для писателя, и раньше, и позже дававшего так много работы этим тайным продавцам, которыми кишел тогдашний Париж, было в высшей степени неприлично участвовать в преследовании хотя бы одного из них. Но такова уж основная черта характера Вольтера, что, раз взявшись за что-нибудь, раз вступив в какую-нибудь борьбу – славную или бесславную – он не останавливался на полпути и всегда готов был сорваться в крайность. У него, как и у всех тех из его современников, которые потеряли веру в традиции, не было никаких заранее готовых, определенных нравственных правил. Еще не было вокруг него в сороковых годах и сложившейся партии единомышленников, с неизбежно вырабатывающимся в каждой партии определенным общественным мнением. Единственным судьей его поступков оставался, таким образом, разум. А у такого впечатлительного, горячего человека, как Вольтер, его индивидуальный «разум» не мог не решать – и слишком часто решал – под диктовку страстей.



*Портрет маркизы де Помпадур.
Франсуа Буше*

Но рядом с дурными чертами он в то же время проявлял и самые лучшие. Вольтер всегда был таким же горячим, неутомимым другом, как и неутомимым врагом. Он имел при этом свойство становиться другом почти каждого, кто обращался к нему за помощью или кому он сам предлагал ее. Всего охотнее помогал он людям, подававшим какую-нибудь надежду сделаться писателями или артистами. И его помощь не была небрежной помощью богатого барина. Он входил во все интересы вновь приобретенного друга; при малейшей возможности поселял его у себя; тратил на него не одни деньги, а также труд, время: переправлял его сочинения, хлопотал об их издании. Так, он долго возился с неким Линаном, затем поддерживал Мармонтеля. Не раз случалось, что его протеже перебегали на сторону врагов, и

самому злему из этих врагов, аббату Дефонтену, он оказал в начале их знакомства очень важные услуги. Но эти измены ничуть не отзывались на судьбе людей, после них обращавшихся к нему за помощью: он так же увлекался ими, так же горячо о них заботился. «У этого негодяя, – восклицает не любивший Вольтера Мариво, – одним пороком больше, чем у других, и именно: он иногда бывает добродетельным!» В разгар увлечения придворной карьерой его любимцем был рано умерший, даровитый юноша Вовенарг. На двадцать с лишним лет моложе Вольтера, больной, он вел уединенный образ жизни, думал на досуге и записывал свои мысли, сообщая их лишь близким друзьям. Характер его ума был совершенно противоположен характеру ума Вольтера. Он занимался больше нравственными вопросами, придавал огромное значение чувству; его выражение: «Великие мысли вытекают из сердца», – приобрело известность. Вольтер часто расходился с ним во взглядах, но преклонялся перед его нравственной чистотой, его «добродетелью», как тогда выражались. Близкий с обоими Мармонтель говорит в своих мемуарах, что его восхищало нежное уважение, которым знаменитый писатель окружал своего молодого друга.

Между тем положение Вольтера при дворе становилось все более и более шатким. Благочестивая королева и большая часть придворных искали лишь удобного повода, чтобы устранить его. Повод нашелся в мадригале, поднесенном поэтом г-же Помпадур, оставшейся его единственной покровительницей. Стихотворение заканчивалось пожеланием, чтобы как король, так и она сама навсегда сохранили свои завоевания. Это понравилось Помпадур, но возбудило толки при дворе королевы. Автору пеняли, что неприлично ставить на одну доску завоевания короля во Фландрии и завоевание его собственной особы фавориткой. Толки приняты такие размеры, что Вольтер с г-жою Дю Шатле сочли за лучшее поспешно уехать в Сирей, а оттуда – в Люневиль, где прожили весь 1748 и половину 1749 года при дворе Станислава Лещинского, этого польского пана и совершеннейшего французского сеньора, бывшего два раза польским королем, а теперь доживавшего век в Лотарингии с сохранением королевского титула, но почти без всякой власти. Он считал себя философом, правда, христианским, как свидетельствовало заглавие одного из его сочинений, но это не мешало ему давать, подобно безбожному Фридриху, поправлять свои сочинения Вольтеру. Жизнь текла здесь так спокойно и свободно, что напоминала скорее беззаботное существование в гостях у частного богатого человека, чем при дворе.

Вместо внешних бурь появились внутренние. При том же дворе проживал будущий автор описательной поэмы «Времена года», тогда еще просто молодой, блестящий офицер Сен-Ламбер, которому выпало на долю отбить любимых женщин у двух величайших писателей Франции: сперва у Вольтера, а через восемь лет – у Ж.-Ж. Руссо.

Он нравился не одним женщинам, а также и мужчинам, и сразу завоевал все симпатии Вольтера. Летом 1748 года этот последний внезапно открыл, что его божественная Эмилия принадлежит другому. Под первым впечатлением он, хотя и больной, решил тою же ночью уехать из замка Коммерси, летней резиденции Станислава, где происходило дело. Но Эмилия пришла к нему и повела рассудительные речи: за что ему сердиться? Чем огорчаться? Он болен, он нуждается в спокойствии, а ей нужна любовь. Не лучше ли, что она полюбила человека, к которому он сам относился дружески, чем кого-нибудь другого?

Речи подействовали на Вольтера, он успокоился, обнял пришедшего Сен-Ламбера, признал, что был неправ, что ему, старику, не следовало предъявлять требований на чувство, принадлежащее молодости (Сен-Ламберу было тридцать два года, но Эмилии уже за сорок), и остался жить со своим другом. Эту характерную для людей XVIII века сцену рассказывает в своих мемуарах секретарь Вольтера, Лоншан, слышавший разговор из соседней комнаты.

Вольтер не жалел, конечно, что провел еще год со своим незаменимым другом. Ему и без того предстояло скоро потерять Эмилию, умершую от послеродовой болезни 10 сентября 1749 года. Она предвидела громадную опасность родов в такие годы, после двадца-

типятiletного промежутка. Ее главной заботой в последние месяцы жизни было опасение, что ее «Комментарии» к сделанному ею переводу «Принципов» Ньютона останутся не законченными. Чем ближе подходил срок, тем напряженнее она работала. Начало родов застало ее за этим трудом. Сверх ожидания роды были легкими, но через несколько дней послеродовая болезнь свела ее в могилу. Выйдя из комнаты своего умершего друга, Вольтер упал без чувств вниз на лестнице, где его нашел Сен-Ламбер.

Люневиль опротивел Вольтеру. Он переехал в Париж и поселился в том же доме, где раньше жил с Эмилией. В страшной тоске бродил он по целым ночам по комнатам, точно разыскивая умершую, не хотел никого видеть и не выказывал ни к чему интереса. Последнее обстоятельство, как слишком противоречащее характеру Вольтера, особенно пугало его близких друзей. Д'Аржанталь и Ришелье употребляли все усилия, чтобы разбудить в нем страсть к театру. За последние годы при дворе вошло в моду прославлять, назло Вольтеру, в качестве первого современного трагика почти забытого Кребильона. Это прежде бесило Вольтера, и еще при жизни Эмилии он работал в Люневиле над двумя трагедиями на те же сюжеты, которые были разработаны Кребильоном: «Орестом» предполагалось побить «Электру», а «Спасенным Римом» – «Катилину» Кребильона. Д'Аржанталь и Ришелье нарочно рассказывали Вольтеру о славе Кребильона, на сторону которого враги успели уже перетянуть и Помпадур. Друзья рассчитали верно: жилка борьбы заговорила в Вольтере. Он согласился поставить на сцене «Ореста», который был, впрочем, беспощадно освистан благодаря усилиям сторонников Кребильона. Но Вольтер уже нашел себе другую заботу, отвлекавшую его от тоски и более симпатичную, чем соперничество со старым Кребильоном.

В Париже существовало в то время несколько обществ любителей из буржуазии, игравших небольшие пьесы в нанятых помещениях. Попад на одно из таких представлений, Вольтер был очарован талантливой игрой одного молодого ремесленника, Лекена. После представления он зазвал его к себе, обласкал и, узнав, что тот по недостатку средств не может совершенствовать свой талант, тут же предложил ему значительную денежную помощь. Лекен рассказывает в своих воспоминаниях, что был растроган до слез такой добротой в человеке, которого молва рисовала жадным, бессердечным эгоистом. При следующих свиданиях Вольтер окончательно увлекся юношей, поселил его у себя, давал ему уроки, устроил для него домашнюю сцену, на которой тот играл вместе с товарищами. Он же потом хлопотал Лекену позволение дебютировать на сцене. Это было едва ли не самое удачное из всех внезапных увлечений Вольтера подающими надежды юношами. Лекен скоро сделался лучшим парижским актером и навсегда остался преданным другом своего знаменитого покровителя, его «благородным учеником», как он сам называл себя.

Между тем положение в Париже становилось все тяжелее для Вольтера: в литературе его осыпали пасквилями, при дворе и в театре торжествовали его враги. С другой стороны, Фридрих II все настойчивее и настойчивее звал его к себе. «Обыкновенно мы, писатели, хвалим королей, а этот сам расхваливал меня с головы до ног в то время, как негодяи... позорили меня на весь Париж по меньшей мере раз в неделю... Как было устоять против победоносного короля, поэта, музыканта и философа, который делал вид, что любит меня? Мне показалось, что я тоже люблю его». Так объясняет Вольтер в мемуарах свое решение поехать к Фридриху.

В начале июня 1750 года он выехал из Парижа с разрешения Людовика XV, с сохранением своего придворного титула и звания историографа, вовсе не предчувствуя, что вернется в этот город лишь за три месяца до смерти. Фридрих встретил Вольтера самым дружеским образом, поселил его во дворце как раз под своими комнатами и предоставил своему гостю полную свободу.

За ужином собиралась компания личных друзей короля. Это были в большинстве французы, среди которых выделялся Ла Меттри. Был один итальянец – уже известный нам Аль-

гаротти, один венгр и ни одного немца. Чтобы попасть на эти ужины, требовалось быть вольнодумцем и умным человеком. «Никогда и нигде в мире не говорили с такой свободой обо всех человеческих суевериях и не третировали их с большими насмешками и презрением», – говорит Вольтер, характеризуя знаменитые ужины. За ними говорилось много остроумных вещей. «Король сам проявлял ум и вызывал других на его проявление и, что всего удивительнее, – добавляет Вольтер, – я никогда не ужинал с меньшими стеснениями».

Фридрих употреблял все усилия, чтобы склонить своего гостя на прочное водворение в Пруссии. Парижские друзья отговаривали Вольтера от этого шага, пугая его той рабской зависимостью от Фридриха, в которой он очутится, поступив на его службу. Вольтер письменно сообщил королю об этих опасениях. Они нередко переписывались друг с другом с одного этажа на другой. «Мы оба философы, – отвечал в письме король. – Что может быть естественнее, если два философа, связанные одинаковыми предметами изучения, общностью вкусов и образа мыслей, доставляют себе удовольствие совместной жизни? Я уважаю вас как моего учителя в красноречии и знании; я люблю вас как добродетельного друга. Какого же рабства, какого несчастья можете вы опасаться в стране, где вас ценят, как в отечестве, живя у друга, имеющего благородное сердце?»

«Немногие коронованные особы писали такие письма, – говорит Вольтер. – Оно окончательно опьяняло меня. Словесные уверения были еще горячее... Он поцеловал мою руку, я ответил ему тем же и стал его рабом».

«Рабство» было вначале самым приятным, какое только можно себе представить. Вольтер был сделан камергером с двадцатью тысячами франков годового содержания, получил золотой ключ и орден на шею.

«Моя должность, – писал он в Париж, – заключается в том, чтобы ничего не делать. Час в день я посвящаю королю, чтобы несколько сглаживать слог его произведений в стихах и прозе... Все остальное время остается в моем полном распоряжении, а вечер заканчивается приятным ужином».

Свой досуг он употребил прежде всего на окончание давно начатой «Истории века Людовика XIV», которая и была отпечатана в Берлине в 1751 году. По обилию и тщательной проверке материала это – лучший из исторических трудов Вольтера.

Но преклонение автора перед величайшим, по его мнению, веком, доведшим искусство и поэзию (его любимую трагедию) до совершенства, – преклонение, распространенное и на короля, покровительствовавшего искусству, поощрявшего блеск, роскошь и утонченность цивилизации, вызывало неудовольствие даже среди учеников и последователей Вольтера, принадлежавших к молодому, более демократически настроенному поколению.



Портрет Вольтера.
Гравюра Бенуа-Луи Анрикеса

Несмотря на свое отвращение к Вольтеру, Людовик XV был очень недоволен его переходом на службу к Фридриху, а при дворе этот поступок прямо называли «дезертирством».

Возможность возвращения во Францию становилась проблематичной. А между тем и в Берлине безоблачное счастье было очень непродолжительным. К восторженным описаниям жизни у Фридриха начинают примешиваться печальные нотки. «Все хорошо, – пишет он уже в ноябре 1750 года, – театр, ужины короля, но, но... В Берлине прекрасные здания, прелестные принцессы и придворные дамы, но, но...» Из дальнейшей переписки, а также из мемуаров мы можем догадаться о смысле этих таинственных *но*. Вольтер начинает чувствовать себя не совсем свободно со своим всемогущим другом, опирающимся на 150 тысяч человек победоносного войска. Ум этого венценосного друга также свободен от предрассудков, а вместе с тем и от всяких определенных нравственных правил, как и ум самого Вольтера. Он обладает беспощадной, ни перед чем не останавливающейся волей. Он по-кошачьи ласков со своими «друзьями» и по-кошачьи же царапает их, когда вздумается. «Всякое общество, – пишет Вольтер, – если оно не состоит из львов и коз (басня Лафонтена), имеет свои законы, а Фридрих нарушил первейший из этих законов: не говорить присутствующим ничего неприятного». Маленькие царапины то тому, то другому из присутствующих наносились шутя, но в наносившей их лапе чувствовалась львиная сила, могущая, при желании, совершенно уничтожить бедную козу.

Первое соприкосновение с королевскими когтями было тем чувствительнее для Вольтера, что он сам подал к нему повод и не мог жаловаться. Этим поводом послужила страсть Вольтера к денежным спекуляциям, которыми он так счастливо занимался во Франции и попробовал заняться также в Пруссии. Не поладив с фактором-евреем относительно вознаграждения, Вольтер заупрямился, довел дело до суда, и хотя суд решил дело в его пользу, но в обществе осталось подозрение, что знаменитый писатель перехитрил хитрейшего из берлинских евреев. Фридрих, бывший в Потсдаме в то время, когда Вольтер судился в Берлине, написал ему по этому поводу беспощадное письмо. Он высчитал все его вины: Вольтер впутал его в свои ссоры с литературными врагами, он всегда со всеми ссорился, имел процессы еще в Париже, а теперь занялся спекуляциями и втянулся в скандальное дело с евреем, одно имя которого, упоминаемое рядом с именем Вольтера, является позором для последнего, и прочее, и прочее.

Словом, Фридрих разбил Вольтера как провинившегося мальчишку, не забывая при этом упоминать о его почтенном возрасте. И Вольтеру пришлось проглотить обиду и просить извинения. Эта история всегда приводилась врагами Вольтера в доказательство его безмерного корыстолюбия. Заметим только, что весь спор с евреем шел о сумме в тысячу талеров, а за год перед этим, по рассказу Лекена, тот же человек предложил ему, в первый раз его видя, 10 тысяч франков и затем действительно истратил для него не меньшую сумму. Через несколько лет Вольтер затеет с президентом де Броссом, у которого купил имение, длиннейший спор из-за нескольких вязанок дров, стоимостью самое большее в 170 франков. Для богача Вольтера, в то же самое время раздававшего гораздо большие суммы, 170 франков не могли иметь значения. А между тем, попав на человека, такого же упрямого, как и сам, он провозился с этим делом более года. Спекулировал Вольтер, конечно, из корыстолюбия – из стремления увеличивать свои средства, но затевал нелепые процессы, сильно вредившие его репутации, никак не из корыстолюбия, а из упрямства, страсти к борьбе, из желания наказать за несправедливое, по его мнению, требование.

Фридрих простил Вольтера. История с евреем была предана забвению. Жизнь, по-видимому, шла по-прежнему; но Вольтер уже не чувствовал себя по-прежнему. Ла Меттри, самый близкий к королю из окружавших его иностранцев, еще усилил беспокойное чувство Вольтера. Он рассказал ему, что король в разговоре о нем выразился следующим образом: «Он еще нужен пока, но, раз сок из апельсина выжат, кору бросают». Вольтер был сильно взволнован этой фразой. Он беспрестанно возвращается к ней во всех письмах этого времени. Иногда на него нападало сомнение: Ла Меттри любит насмехаться над людьми, – не

были ли слова о корке только злой шуткой этого насмешника? Вольтер принимался тогда расспрашивать Ла Меттри, умолял его сказать правду – тот стоял на своем. Ла Меттри умер в ноябре 1751 года, и Вольтер очень жалел, что не мог еще раз поговорить с ним перед смертью, – может быть, он сказал бы, наконец, правду...

Как бы там ни было, Вольтер стал подготавливать свое бегство из Берлина, решив, как он выражается, «убрать апельсиновую корку в безопасное место». Он начал с того, что позаботился о своих капиталах, переместив их из Пруссии в Вюртемберг. К сплетням Вольтеру на короля не замедлили присоединиться также сплетни королю на Вольтера. Сперва ему передали слова Вольтера, что со смертью Ла Меттри «открылась вакансия на должность королевского атеиста». На это Фридрих не обратил внимания. Но когда ему сказали, что Вольтер называет его стихи «грязным бельем, которое отдается ему для стирки», и вообще не находит их хорошими, обращение короля изменилось и стихов «для стирки» стало присылаться гораздо меньше.

Вольтер был убежден, что этими сплетнями занимался не кто иной, как президент Берлинской академии Мопертюи, который когда-то был его приятелем, но, встретясь с ним в Берлине, начал относиться к нему очень недоброжелательно, а под конец – прямо враждебно. Мопертюи опубликовал перед этим свое очень важное, по его мнению, научное открытие относительно «сбережения силы в природе». Кёниг – близкий знакомый Вольтера по Сирею, – бывший членом Берлинской академии, сообщил президенту свои возражения на его открытие и показал копию с письма Лейбница, в котором знаменитый философ говорит о том же законе «сбережения силы», но не признает его верным. Открытие оказывалось, таким образом, вовсе не открытием. Мопертюи, привыкший к безусловному подчинению со стороны членов Берлинской академии, отнесся очень сурово к дерзости Кёнига и даже не прочел его мемуара. Тот тем не менее напечатал его. Мопертюи, зная от самого Кёнига, что у него имеется только копия с письма Лейбница, потребовал предъявления оригинала и назначил для этого срок. Достать оригинал не было возможности. Срок прошел, и Мопертюи на торжественном заседании своей покорной академии объявил Кёнига фальсификатором. Тот апеллировал к общественному мнению. Поступок был действительно возмутительный: особого рода академическое судебное убийство. Если бы Вольтер и не дружил с Кёнигом, и не был зол на Мопертюи, он все-таки возмутился бы и напал на обидчика, как не раз в жизни делал это без всяких личных мотивов. Тем охотнее сделал он это теперь, разоблачив во французских журналах всю неприглядность поступка президента Берлинской академии. Но этим дело не кончилось. Мопертюи, точно нарочно на соблазн Вольтеру, вскоре выпустил книжку «Писем», дававших обильную пищу для насмешки. Говорят, что, огорченный противодействием Кёнига, властолюбивый президент начал в это время усиленно прибегать к водке и написал большую часть своего произведения под действием этого напитка. Иначе действительно трудно объяснить себе всю массу фантазий, серьезно предлагаемых публике, в этих удивительных «Письмах». Там имелись проекты, предлагавшие прорыть отверстие до центра земли и выстроить город, в котором все жители говорили бы исключительно по-латыни. Смерть, которую автор считал моментом полной зрелости человека, могла быть, по его мнению, значительно отсрочена посредством обмазывания тела смолой для предотвращения испарений. Человек, рассуждал Мопертюи, может узнавать будущее, приводя свою душу в экзальтированное состояние, а природу этой души можно узнать, рассекая мозги гигантов, живущих в Патагонии. Можно себе представить, как отлично воспользовался этими фантазиями Вольтер. Между прочим, Мопертюи предложил в тех же «Письмах» платить докторам лишь в том случае, когда больные выздоравливают. Несмотря на такую жестокость, добрый доктор Акакий (по-гречески – «без лукавства»), от имени которого Вольтер написал свою «Диатрибу» против Мопертюи, берется лечить злого уроженца С. – Мало (родина президента) от его хронической болезни, называемой филократией, и действительно лечит в самой

остроумной сатире, когда-либо выходившей из-под пера Вольтера. Фридрих, принявший в деле с Кёнигом сторону Мопертюи, рассердился. После грозного внушения он сжег в присутствии автора все экземпляры «Диатрибы» в камине собственного кабинета. С Вольтера взято было письменное обязательство больше не трогать президента. Король мог думать, что избавил последнего от посмеяния. Но едва догорели отпечатанные в Потсдаме экземпляры, как из Дрездена пришло и наводнило Берлин новое издание того же памфлета. В Париже, как оказалось, он разошелся в тысячах экземпляров, и вся читающая Европа хохотала уже над несчастным Мопертюи. Фридрих пришел в бешенство и приказал (24 декабря 1752 года) жечь ненавистную брошюру на площадях Берлина рукою палача. Оскорбленный Вольтер отослал королю знак своего камергерского достоинства и орден и попросил отставки. Фридрих желал унижить, наказать Вольтера, но не желал с ним расставаться. В тот же день доверенный секретарь короля, Фредерсдорф, принес ему обратно ключ и орден с самыми миролюбивыми предложениями. Король опять желает видеть его за своими ужинами и зовет с собою в Потсдам, куда отправляется в конце месяца. Вольтер отговаривается нездоровьем, ему нужно лечиться. Фридрих присылает хинин. «Хинин не поможет, – отзывается Вольтер. – Необходима поездка на воды в Пломбьер». – «В моих владениях в Глаце тоже есть воды не хуже французских», – отвечает король.

Фридрих не захотел бы, конечно, насильно держать Вольтера, но мог при отъезде надевать ему много неприятностей. Вольтер, твердо решившийся уйти из-под власти своего бывшего друга, прибегнул к хитрости. Он поехал в Потсдам, где находился король, провел с ним неделю и снова ужинал «под мечом Дамокла», по его выражению. С внешней стороны старые отношения были восстановлены. Вольтер получил позволение отправиться в Пломбьер, дав слово вернуться обратно осенью.

26 марта 1753 года он выехал из Потсдама и через два дня был уже в Лейпциге, где остановился на несколько недель. Со времени появления «Диатрибы» у него накопилось уже немало новых насмешек над Мопертюи, и он не преминул сообщить их многочисленным знакомым, которых тотчас же приобрел в Лейпциге. Слухи о новых готовящихся сатирах дошли до Берлина, и злой гений внушил Мопертюи мысль написать Вольтеру угрожающее письмо, в котором президент заявляет, что он достаточно здоров, чтобы настичь Вольтера и лично отомстить ему. Такое письмо заслуживало ответа, который и был написан в самой «дружеской» форме от имени все того же доброго доктора Акакия. «Поздравляю вас с прекрасным состоянием вашего здоровья, – пишет доктор, – но я не так здоров, как вы. Я в постели и прошу вас отложить на время маленький физический опыт, которому вы намерены меня подвергнуть. Вы, может быть, хотите меня анатомировать? Но подумайте о том, что я вовсе не гигант из Патагонии, и мой мозг так мал, что рассечение его волокон не даст вам никаких новых сведений относительно души... Сделайте также одолжение обратить ваше внимание на следующее обстоятельство: если вы соблаговолите экзальтировать вашу душу, чтобы ясно видеть будущее, вы тотчас увидите, что, явившись убивать меня в Лейпциге, где вас так же мало любят, как и повсюду, и где ваше письмо известно, вы рискуете быть повешенным, что слишком ускорило бы момент наступления вашей зрелости и было бы неприлично для президента Академии». Одновременно с этим Вольтер просит секретаря Берлинской академии вычеркнуть его из списков, так как иначе было бы слишком много затруднений с составлением похвального слова умершему члену после убийства и анатомирования, которые совершит над ним президент. Кроме того, в «Лейпцигской газете» появилось объявление с комическими приметами неизвестного человека и обещанием тому, кто известит о его прибытии, награды в тысячу дукатов из фонда латинского города, который будет выстроен этим неизвестным.

Потешившись таким образом и потешив читателей, Вольтер переехал в Готу, где прожил пять недель в гостях у герцога. А тем временем новые послания доктора Акакия делали

свое дело, и над Вольтером собиралась гроза. Увидя из продолжения войны с Мопертюи, как твердо решил Вольтер не возвращаться в Пруссию, Фридрих обеспокоился. Мы знаем, как любил он писать стихи. Его избранные стихотворения были отпечатаны в нескольких экземплярах и розданы ближайшим друзьям, в том числе и Вольтеру. В этих стихах было немало злых выходок против коронованных особ, немало также насмешек и над религией. Их опубликование было бы очень неприятно королю. Не доверяя больше Вольтеру, Фридрих решил отобрать у него официальным путем свои стихи, а кстати уж отобрать также орден, ключ и некоторые письма. Сделать это в Готе, у гостя герцога, было неудобно, и приказ был послан во Франкфурт, который лежал на пути Вольтера и где не было коронованных особ.

Прибыв 31 мая во Франкфурт и переночевав в гостинице, Вольтер готовился уже двинуться в дальнейший путь, как вдруг к нему явился прусский резидент во Франкфурте Фрейтаг, в сопровождении прусского офицера, и потребовал у Вольтера выдачи им известного ключа, ордена, писем, а главное – книги «поэтических произведений моего милостивого короля», как выражался Фрейтаг о стихах Фридриха. Все остальное Вольтер отдал, но книга вместе с частью его вещей была оставлена в Лейпциге для пересылки в Страсбург. Фрейтаг сделал подробный обыск, длившийся целых восемь часов, но «поэтических произведений» не оказалось, и Вольтеру было объявлено, что он остается под домашним арестом до прибытия вещей из Лейпцига. Понятно бешенство Вольтера, но пока он еще крепился.

Его племянница, дочь его умершей сестры, бездетная вдова г-жа Дени, ожидавшая дядю в Страсбурге, при известии об аресте приехала во Франкфурт и осталась с ним в гостинице. Восемнадцатого июня прибыли вещи из Лейпцига и с ними королевские стихи, но Фрейтаг, не получивший еще ответа на посланный им в Берлин отчет о своих действиях, отказался отпустить пленника.

Окончательно выведенный из терпения и опасаясь за свою дальнейшую судьбу, Вольтер решился бежать и 20 июня тайно выехал со своим секретарем Коллини, но на заставе был задержан бдительным Фрейтагом и теперь уже как преступник подвергнут настоящему строгому аресту. У него отобрали все вещи, деньги, даже табакерку. Таким же строгостям были подвергнуты Коллини и г-жа Дени. Всех их разместили по разным комнатам очень плохой гостиницы и приставили к каждому по четыре солдата. На следующий день из Берлина пришло приказание отпустить Вольтера. Но Фрейтаг рассудил, что приказание дано до бегства, – бегство же есть преступление против короля, и теперь он не может отпустить арестанта, не получив нового приказа. В ожидании этого приказа прошло еще две недели строжайшего ареста, и лишь 7 июля Вольтер выехал, наконец, из Франкфурта, поплатившись, вдобавок, значительной суммой на покрытие издержек по содержанию его под арестом.



Vterqve ambo; ambo nevter.
Гравюра Пети-Жан Клода

Он стремился в Париж, но, зная, как дурно было принято его «дезертирство» и как мало могла поправить его дела ссора с Фридрихом, дружба с которым все же придавала ему при дворе известное значение, он был в нерешимости и остановился пока в Страсбурге. При немилости двора Вольтер, несмотря на свои шестьдесят лет и европейскую славу, мог всего опасаться от врагов, а в такие годы и при расшатанном здоровье преследования переносятся

совсем не так легко, как в молодости. Вражда же духовенства давала себя чувствовать даже в Страсбурге, а затем в Кольмаре, куда он переехал в октябре. Летом следующего, 1754 года он направился было в Пломбьер, но, услышав, что там находится его враг Мопертюи, предпочел остановиться по дороге в бенедиктинском монастыре в Вогезах, настоятель которого дон Кальмет был его хорошим знакомым по Сирею, где ученый монах часто гостил при жизни маркизы. Здесь Вольтер с удовольствием провел целый месяц, вспоминая с доном Кальметом счастливые сирейские дни, а главное, изучая под его руководством старые фолианты богатой монастырской библиотеки. Он заказал также монахам множество выписок из творений отцов церкви и из истории соборов, которыегодились ему впоследствии. После отъезда Мопертюи Вольтер успел еще пробыть в Пломбьере несколько недель с прибывшим туда для свидания с ним д'Аржанталем. Потом снова вернулся в Кольмар. Из Парижа приходили всё нерадостные вести. В ноябре он отправился в Лион на свидание с другим своим старым приятелем, герцогом Ришелье. Тот тоже не мог сказать ничего утешительного: король и слышать не хотел о Вольтере. К довершению бед, именно теперь различными путями получило огласку существование двух произведений Вольтера, не имевших между собою ничего общего, кроме того, что ни то, ни другое не предназначалось к печати, по крайней мере в том виде, в каком они проникли теперь в публику. Мы говорим о главном историческом труде Вольтера «Опыт о нравах и о духе наций» и о его поэме «Девственница» («La Pucelle»). Оба эти произведения были почти окончены еще в Сирее. В предисловии, предпосланном Вольтером своему историческому труду, он так объясняет его происхождение: при обширном уме и способности к метафизике, маркиза Дю Шатле чувствовала отвращение к истории. «Я никогда не могла окончить, – говорила она, – ни одной истории новых народов (для истории Греции и Рима она делала исключение). Я встречаю в них лишь путаницу событий; массу мелких фактов без последовательности и связи, тысячи битв, которые ничего не решают... Я отказываюсь от этого изучения, столь же сухого, как и обширного, которое утомляет ум, не просвещая его». Вольтер сходил с маркизой в оценке многотомных и сухих сводов старых хроник, из которых состояла историческая литература того времени. Но он думал, что историю можно изучать по другому способу. Из массы бесформенного исторического материала можно сделать разумный выбор. Отбросив скучные и бесполезные подробности войн и дипломатических переговоров, можно выбрать из истории все то, что обрисовывает нравы, и проследить сквозь хаос событий ход развития человеческого ума. Эта мысль понравилась маркизе. Они вместе принялись за изучение истории по новому плану, и «Опыт», а также «Философия истории», переделанная потом Вольтером во введение к «Опыту», были плодом этого изучения.

Уже раньше своими историями Карла XIII и Людовика XIV Вольтер доказал читающей публике возможность интересных для нее исторических произведений. Но там излагались почти современные события. «Опыт» заставил читателей заинтересоваться историей всей Европы со времени Карла Великого до царствования Людовика XIV. Кроме несравненного слога Вольтера, его яркой, остроумной манеры изложения, кроме освещения тех сторон жизни человечества, на которые раньше не обращалось внимания, новостью в этом историческом произведении было также критическое отношение к источникам. Вольтер установил тот принцип, что, раз историк или хроникер рассказывает нечто невероятное, к его свидетельству следует относиться с сомнением; повествования же, которые не согласуются с законами природы или здравым смыслом, следует отбрасывать как совершенно ложные, как бы ни было почтенно имя приводящего их историка. Вольтер не первый высказал это правило, но он первый его популяризировал, он ввел его в общее сознание. В «Философии истории», написанной отчасти по одному плану с Боссюэтов «Речью о всемирной истории», Вольтер, видимо, задается целью опровергнуть исторические взгляды Боссюэта, еще господствовавшие в школах. У Боссюэта, как известно, центром всемирной истории

является история еврейского народа. В кратком обзоре древней истории у Вольтера евреи оказываются, наоборот, самым ничтожным, варварским племенем, которого не знали современные ему цивилизованные нации. Боссюэт совсем не касается Китая и Индии как стран, не соприкасавшихся с еврейским народом. Вольтер усиленно напирает на сравнительную цивилизованность этих стран и на возвышенную мораль их священных книг. В особенности прославляется Китай, как единственная страна, в которой высшие классы вовсе не знают суеверий и где нет организованного духовенства. Сдержанная, замаскированная полемика также и против христианской религии проходит у Вольтера красной нитью через все его истории. С особенным старанием сопоставляет он сравнительную терпимость последователей всех других религий и нетерпимость христиан и высчитывает миллионы уничтоженных человеческих жизней, реки крови еретиков, пролитой христианами во имя религии.

Это-то произведение, в слишком откровенном и не вполне обработанном виде, стало печататься в 1754 году в Дрездене по похищенной рукописи. Вольтер протестовал, по обыкновению, уверяя, что самые смелые фразы прибавлены издателями. Тем не менее «Опыт» – и в особенности один, показанный королю, отрывок из предисловия – был в числе причин, лишивших автора возможности возвратиться во Францию. Поселившись в следующем году на швейцарской территории, Вольтер закончил обработку этого труда и сам издал его в шести тысячах экземплярах, – количество, неслыханное для того времени. Тем не менее еще при его жизни понадобились новые издания. Над своим «Опытом» Вольтер не переставал работать до самой смерти, то добавляя, то изменяя разные подробности. Его новый способ писать историю быстро создал целую школу, – прежде всего в Англии: Гиббон, Юм, Робертсон принадлежали к его последователям.

Другим произведением, «изгонявшим» Вольтера из Франции, была знаменитая «Орлеанская девственница», многочисленные копии которой ходили по Парижу, что предвещало скорое появление ее в печати. Уже больше двадцати лет прошло с тех пор, как Вольтер начал писать эту поэму. Она была его любимым детищем; над нею отдыхал он от серьезных работ и забавлял ею друзей и приятелей. Он никогда не предназначал ее для печати и очень заботился, чтобы о ней не узнали враги. Но сам он так любил ее, что читал почти каждому, кто заслуживал его расположение, а близким приятелям не отказывал и в копиях. К тому же многие заучивали стихи наизусть, а известный приятель Вольтера Тирио сделал своей специальностью декламирование поэмы в салонах. Иметь копию этой поэмы и знать из нее наизусть несколько отрывков стало признаком хорошего тона и доказательством принадлежности к избранному обществу. Со смертью г-жи Дю Шатле, зорко следившей за тем, чтобы рукописи не попадали в неверные руки, копии «Pucelle» до того размножились, что в 1754 году сотнями продавались в Париже и с 50 луидоров упали в цене до одного, а в 1755 году поэма была напечатана, как подозревал Вольтер, его врагом ла Бомелем.

Хотя «Pucelle» и носит название поэмы, в ней нет цельности содержания. Отдельные эпизоды и сцены, писавшиеся в течение десятков лет, почти ничем не связаны, кроме имени героини. На историческую верность лиц и событий Вольтер не имел в этом фантастическом произведении ни малейшей претензии, и когда впоследствии сам напечатал его, то даже не отказал себе в удовольствии ввести в поэму с сюжетом, заимствованным из истории начала XV века, своих современных литературных врагов: Фрерона, ла Бомеля и с полдюжины других – в виде каторжников. Сама Иоанна – согласно, впрочем, одной бургундской, враждебной ей, хронике – является у него не крестьянкой, а трактирной служанкой двадцати семи лет, вместо исторических восемнадцати. По живости, остроумию, по блескам воображения, рассыпанным повсюду, «Орлеанская девственница» как художественное произведение выше «Генриады» и трагедий Вольтера, но огромным успехом в XVIII веке она все же обязана не столько своим литературным достоинствам, сколько дерзкому издевательству над тем, что считалось святым и великим: над девственницей и героиней. Теперь трудно даже

представить себе эту охоту издеваться над девушкой-героиней, явившейся на помощь отечеству в тот момент, когда оно было на краю гибели, и погибшей на костре. Чтобы понять это, надо стать на точку зрения XVIII века. Для благочестивых людей Иоанна была олицетворением девственности и вытекающей из этого святости. В многотомной благочестивой поэме Шапелена, подавшей Вольтеру мысль писать на тот же сюжет в противоположном тоне, Иоанна беспрестанно совершает сверхъестественные дела, находится в постоянном общении со святыми – и все благодаря девственности. Девственность, безбрачие было той прославленной добродетелью, которой католическое духовенство всегда придавало гораздо больше значения, чем духовенство других вероисповеданий, хотя и мало придерживалось ее на практике. Это заставляло людей XVIII века переносить свою вражду против духовенства и на его прославленную добродетель. Кондорсе прямо ставит в заслугу Вольтеру ее осмеяние, так как оно вырывает оружие, направленное против честных людей, из рук злых ханжей и лицемеров.



Портрет Вольтера.

Гравюра Жана-Батиста Михаэля

С другой стороны, хотя Вольтер и отдает полную справедливость храбрости Орлеанской девы, но эта храбрость не может внушить ему достаточного уважения к ней. Ведь Иоанна была безграмотной служанкой и жила в варварском веке, а мы уже знаем, что для Вольтера имели значение лишь просвещенные люди, способствовавшие успехам цивилизации. Красота, не покрытая лоском цивилизации, была недоступна его пониманию как в характерах и поступках людей, так и в произведениях искусства и поэзии. То же пристра-

стие к цивилизации и отвращение к варварству заставляет его отрицать всякую красоту в готических храмах, предпочитать Вергилия Гомеру и каяться в мимолетном снисхождении к Шекспиру; оно же влияет и на его отношение к Евангельской истории...

Глава V

Вольтер-хозяин. – Лиссабонское землетрясение. – «Кандид». – Энциклопедия. – Критика Вольтера. – Его философия. – Отношение к Ж.-Ж. Руссо

Убедившись в необходимости искать себе приюта вне Франции, Вольтер в декабре 1754 года направился из Лиона в Женеву посоветоваться относительно своего здоровья со знаменитым врачом Троншеном, а также посмотреть, нельзя ли будет устроиться в этой маленькой, говорящей по-французски, республике. Осмотревшись, он действительно купил близ Женевы усадьбу, которую назвал Делис (наслаждение). «Мыслящие существа, – пишет он в своих мемуарах, – предупреждаю вас, что нет ничего приятнее, как жить в государстве, правительству которого можно всегда сказать: приходите завтра ко мне обедать».

Вольтеру 60 лет, но до сих пор у него не было собственного жилища. Прошло более сорока лет со времени его вступления в «самостоятельную» жизнь, и большую часть этих лет он прожил гостем то французской и английской знати, то королей. В Сирее, правда, он был гостем любимой женщины, своего лучшего друга, но все же гостем. Теперь он – хозяин и не зависит больше ни от каких покровителей. Он, правда, радуется, зачисляя в письмах к близким друзьям в «нашу партию» то ту, то другую владетельную особу, вступившую с ним в какие-либо отношения. Но лично он уже не нуждается в них. Он извлекает из отношений с ними пользу для своих целей, они могут доставлять ему много удовольствия, но уже не могут огорчать его, и не огорчают.

Нельзя не поблагодарить Людовика XV за его упорное отвращение к своему знаменитому подданному. Если бы Вольтер поселился в Париже, то, окруженный толпой знакомых, раздражаемый врагами, запутанный в бесчисленные интриги, он никогда не достиг бы той независимости, силы и влияния, какими пользовался в своем уединенном поместье.

В противоположность всему предыдущему, полному приключений, существованию Вольтера, в его последующей жизни почти нет событий. С внешней стороны она проходит однообразно, в одной и той же местности близ Женевы: сперва в Делис, а потом в Фернее, из которого с начала 60-х годов он уже не выезжает до 1776 года. Но тем богаче последние десятилетия жизни Вольтера самой напряженной деятельностью, которой с избытком хватило бы на несколько недюжинных существований. «В молодости надо наслаждаться, а в старости дьявольски трудиться», – говорил он друзьям, возводя в правило историю своей жизни. Этот «дьявольский труд» скоро принял у него определенный характер упорной, систематической борьбы с суевериями, жестокостями, несправедливостями всякого рода, со всеми остатками варварства, которые он назвал общим именем *Infâme*.

В самом начале этого нового периода жизни Вольтера встретилось несколько обстоятельств, повлиявших на направление его мыслей и деятельности.

Мы знаем, что в своих произведениях тридцатых и отчасти сороковых годов Вольтер проповедовал, что всё в мире обстоит благополучно. Но, очевидно, это убеждение было в нем не очень прочно, и уже к концу сороковых годов у него начинаются сомнения. Положим, зло в мире перемешано с добром, но оно, однако, существует, – как же объяснить его существование? Вопрос, всегда затруднявший всех деистов вроде Вольтера, отвергающих учение церкви, не верящих в будущую жизнь, но признающих всемогущее и всеведущее Провидение.

В романе «Задиг, или Судьба», написанном в 1747 году, герой после многих приключений, в которых зло было примешано к добру в таком количестве, что вызвало в нем недовольство Провидением, под конец беседует с Гением. Последний объясняет ему, что абсолютное совершенство, добро без всякой примеси зла, свойственно лишь жилищу Высшего

Существа, что в остальных бесчисленных мирах должно царствовать разнообразие, в котором зло является необходимым элементом, ведущим к добру. Задиг, однако, не совсем удовлетворен речью Гения. «Но...» – начинает он излагать свои сомнения и не доканчивает, так как собеседник улетает, не слушая его возражений.

Еще большим сомнением отзывается написанная в 1750 году маленькая сказка «Мемнон», герой которой тоже терпит много невзгод и беседует с Гением. Для утешения Мемнона Гений сообщает ему, что среди ста тысяч миллионов существующих миров установлена постепенность; всё совершенно в первом из миров, во втором мудрости и счастья уже меньше, в третьем еще меньше, а в последнем господствует полное безумие. «Я боюсь, – замечает Мемнон, – что наша земля и есть этот сумасшедший дом Вселенной». – «Не совсем так, – отвечает собеседник, – но около того. Все должно быть на своем месте... Общий строй Вселенной совершенен». – «Ах! – возражает бедный Мемнон, которому недавно выкололи глаз, – я поверю этому тогда, когда перестану быть кривым».

Эта идея Болинброка и Поупа о разнообразии миров, из которых состоит Вселенная, совершенная в целом, но совершенство которой непонятно нам, видящим лишь ничтожную часть целого, – позволяла Вольтеру примирять идею Высшего существа с существованием зла в мире.

Лиссабонское землетрясение 1 ноября 1755 года, превратившее большую часть города в развалины, под которыми погибло до 30 тысяч человек, разрушило то неустойчивое философское равновесие, в котором находился оптимизм Вольтера. «Вот ужасный аргумент против оптимизма, – пишет он Д'Аржанталю, – не поздоровится от него принципу Поупа “все хорошо”». Несколько месяцев мысль об этих тысячах трупов, о мучительной агонии полураздавленных людей решительно не дает ему покоя. Утверждать, что «все хорошо», кажется ему теперь жестокостью, почти преступлением против несчастных лиссабонцев. «Поэма о бедствии Лиссабона» явилась страстным выражением этого настроения. Он зовет в ней всех тех, кто утверждает, что все к лучшему в мире, взглянуть на ужасную картину разрушенного города и ответить: зачем эти ужасы? Скажут ли они, что бедствие послано в наказание лиссабонцам? Но разве Лиссабон был преступнее Парижа, Лондона, а между тем «Лиссабон разрушен, а в Париже танцуют». Скажут ли философы, что землетрясение было необходимо в силу вечных законов природы? Но откуда берется их уверенность?

Лиссабонское землетрясение как будто вдруг открыло Вольтеру глаза и на другие страдания. Все чувствующие существа, все животные страдают и истребляют друг друга, а философы утверждают, что из этих отдельных страданий составляется общее счастье. «Весь мир и ваше собственное сердце вас опровергают, – говорит он им. – Зло существует на земле – это надо признать, хотя и невозможно объяснить его происхождение». Местами в этом страстном споре против своих собственных недавних мнений слышится что-то наивное: Вольтер восстает против землетрясения как против злой несправедливости, которую можно было не делать, которой не следовало делать. В нем как будто говорит то же чувство, которое несколько лет спустя заставит его так горячо восстать против юридических убийств Каласа, Ла Барра и прочих.

Тот же спор с оптимистами, но уже в более свойственной Вольтеру сатирической форме, продолжается в вышедшем три года спустя романе «Кандид, или Оптимизм». На этот раз действие происходит уже не в фантастической стране, как в предыдущих романах того же автора, и герой не беседует с гениями. Он – уроженец Вестфалии и воспитывается под руководством философа Панглоса, утверждающего, что все устроено как нельзя лучше в этом лучшем из всех миров. Как с самим героем и его ученым руководителем, так и со всеми действующими лицами романа непрерывно случаются всевозможные бедствия вследствие войны, землетрясения, инквизиции, различных болезней, нападений пиратов и разбойников. Панглос, несмотря ни на что, даже чуть живой, продолжает восхвалять лучший из миров. В

заключительной главе романа большая часть действующих лиц встречается в Турции. Здесь кончаются их приключения, но зато всех одолевает такая скука, что даже Панглос сознается, что всегда ужасно страдал, но, раз заявивши, что все превосходно, не желал отказаться от своего мнения. Они обратились к мудрейшему из всех турецких дервишей с вопросом: почему так много зла на земле? Вместо ответа дервиш спросил их в свою очередь: «Заболит ли Его Величество султан, посылая корабли в Египет, о том, удобно или неудобно на них мышам?» Это, в сущности, та же мысль Поупа и Болинброка о совершенстве Вселенной в ее целом, несмотря на видимые несовершенства, поражающие людей с их ограниченной точкой зрения. Ведь неудобства, испытываемые мышами, не могут помешать кораблю быть прекрасным кораблем, да только не с точки зрения мышей. Разница с прежним взглядом заключается лишь в том, что Вольтер находит теперь смешным игнорировать, ради философской стройности мирозерцания, эти слишком чувствительные – и людям, и мышам – неудобства плавания и отказываться называть их злом только потому, что не можешь объяснить происхождение зла.

«Будем работать, не рассуждая (о зле. – *Авт.*), – это единственная возможность сделать жизнь сносной», – говорит в заключение благоразумный Мартен, и с ним соглашаются все остальные действующие лица, принявшие обрабатывать приобретенный ими сад.

Хотя Вольтер тоже приобрел несколько садов и очень интересовался их устройством, он не мог, однако, последовать благоразумному совету Мартена. Вопрос о зле остался для него, по его собственному неоднократному признанию, самым трудным из вопросов. Еще много раз будет он обращаться к нему, будет пытаться решать его то так, то иначе и до самой смерти не остановится окончательно ни на одном решении.

Еще во время пребывания Вольтера в Пруссии Дидро и Д'Аламбер начали издавать энциклопедический словарь, который должен был содержать сведения по всем отраслям человеческого знания, излагая их с точки зрения новой философии. Словарь предназначался для пропаганды этой философии среди людей, не имеющих времени, охоты или возможности приобретать основательные знания. Вольтер сразу понял, каким прекрасным оружием в борьбе с предрассудками может быть такое издание. Устроившись «у ворот Женевы», он начинает усердно помогать этому делу. В письмах к Д'Аламберу он называет себя «слугой энциклопедии» и, посылая свои статьи, просит редакторов не церемониться с ними: урезать, прибавлять, изменять все, что хотят. «Я ношу вам свои камешки, чтобы вы помещали их в какие придется углы стены». Он получает также статьи для энциклопедии от некоторых ученых, членов протестантского духовенства Швейцарии, которые были не прочь в анонимных произведениях выражаться довольно «развязно», по выражению Вольтера. Он очень радуется, когда в 1756 году парламенты ссорятся с епископами. Это, по его мнению, отличное время для того, чтобы «начинить энциклопедию истинами; когда педанты дерутся – философы торжествуют». Но хотя между педантами и не было заключено мира, «начиненная истинами» энциклопедия была скоро запрещена, и издание возобновилось лишь в 1765 году.

Так рано прерванное дело успело уже, однако, сгруппировать вокруг себя все лучшие литературные силы вольнодумцев. Само запрещение издания и грозный литературный поход, предпринятый клерикальной прессой против нового направления, способствовали выделению «энциклопедистов» – как начали называть с этих пор сотрудников запрещенного словаря и их единомышленников – в особую партию, главою которой естественно стал Вольтер по своему возрасту, знаменитости и таланту. Такое положение придало ему новую энергию и внушило самые оптимистические надежды. «Чтобы опрокинуть колосса, достаточно пять-шесть сговорившихся между собою философов», – пишет он Д'Аламберу. «Дело не в том, чтобы мешать ходить к обедне, – спешит он определить размеры намеченной задачи, – а в том, чтобы вырвать отцов семейств из-под тирании и внушить дух терпимости. В этой великой задаче уже сделаны большие успехи».

Но, как ни велики эти успехи, – с конца пятидесятих годов и до самой смерти Людовика XV «дух нетерпимости» проявляется во всей силе. Книги, брошюры, даже простые предисловия к трагедиям подвергаются самому мелочному, придирчивому контролю и запрещаются в большинстве случаев. Этим достигается тот результат, что все большее и большее число произведений французской мысли печатается в Голландии, в Дрездене, в Швейцарии, и здесь эти запрещенные во Франции мысли высказываются с такою откровенностью, резкостью и озлоблением, которых не было и тени в напечатанных во Франции томах энциклопедии. Вышедшие за границей произведения массами провозились во Францию, и здесь те экземпляры, которые попадали в руки властей, сжигались у подножия лестницы парламента. Впрочем, нет. По свидетельству современников, парламентские советники, поговаривавшие в шестидесятых годах, что мало сжечь книги, что следовало бы сжечь также и авторов, разбирают произведения этих вредных авторов для своих библиотек, а в костры бросаются для виду связки старых бумаг из архива.

Главную массу этого рода произведений поставлял Вольтер. Прежде чем приняться за систематическую пропаганду, он постарался возможно лучше обезопасить себя. Кроме Делис, он владел загородным домом близ Лозанны, а в 1758 году приобрел еще Ферней – дворянское имение на французской территории, близ самой границы, в двух часах ходьбы от Женевы. «Я так устроил свою судьбу, – говорит Вольтер в своих мемуарах, – что могу считать себя одинаково независимым в Швейцарии, на женеvской территории и во Франции... Не думаю, чтобы какое-нибудь частное лицо в Европе имело такую свободу, как я».

Начнись в самом деле преследование во Франции, он оказался бы в своем женеvском поместье, а не поладив с женеvцами, мог бы без затруднений перебраться в Лозанну. Недалеко было и до Невшателя, принадлежавшего Фридриху, с которым он помирился еще в 1757 году.

Запасшись столькими убежищами, Вольтер чувствовал себя в безопасности и мог приняться за работу. Но «сговориться» разделить литературный труд, работать заодно Вольтеру было все-таки не с кем. Лучшие силы разраставшегося философского движения все более и более склонялись к полному материализму и устраняли из своих рассуждений идею Творения и Провидения. Вольтер же был решительным противником этого учения, считая его не только ложным, но еще и вредным по своему влиянию на читателей-нефилософов. Жан-Жак Руссо, влияние которого быстро росло, был деистом. Вольтер очень ценил его «Исповедь Савойского викария» и даже не раз сам перепечатывал ее для контрабандного распространения. Зато все другие взгляды этих двух писателей были настолько противоположны, что, если б у них и не возникло личной вражды, которой нам придется еще коснуться, между ними все-таки не могло бы существовать, имея в виду общего врага, даже того ограниченного союза, которого держался Вольтер по отношению к материалистам.

Недостаток сотрудников Вольтер старался заменить удешевленной производительностью и разнообразием форм и даже тона своих произведений. Под различными псевдонимами, то выдавая их за переводы с английского, то приписывая умершим писателям, а иногда и вымышленным духовным лицам, Вольтер с начала шестидесятых годов наводняет своими изданиями Францию и главнейшие центры читающей по-французски Европы. Одной из его излюбленных форм для этого рода произведений были философские словари, маленькие карманные энциклопедии, которых он издал несколько. Здесь в коротеньких статейках под заглавиями «Аббат», «Атеизм», «Бог», «Добро», «Душа» и прочих, размещенных в алфавитном порядке, Вольтер излагает все свои взгляды: бранит духовенство, доказывает бытие Божие, спорит с атеистами, обсуждает с различных сторон вопрос о зле в мире, излагает идеи Локка, разбирает Священное Писание – словом, не оставляет незатронутым ни одного из занимающих его вопросов. Рядом с этим, в других изданиях те же вопросы разбираются в связном изложении философских трактатов. Иной раз, под псевдонимом какого-нибудь

духовного лица, они излагаются в виде проповеди или поучения. Но самой удачной, самой живой формой рассмотрения все тех же вопросов являются у Вольтера диалоги. Иногда разговор касается только одного предмета, чаще разговаривающие перебирают их чуть ли не все. Собеседники бывают самые разнообразные: в одном диалоге монах Риголо разговаривает с китайским императором, которого старается обратить в свою веру и смешит своими аргументами.

Китайцы всегда играют у Вольтера роль мудрецов, и император является представителем мнений автора. По временам собеседниками оказываются древние философы, или Марк Аврелий, пришедший с того света взглянуть на свой родной Рим, разговаривает со встреченным им монахом. Разговор между Лукианом, Эразмом и Рабле происходит уже прямо на Елисейских полях, где два новейших сатирика знакомят древнего римлянина с теми условиями, при которых им пришлось писать свои произведения. А там Вольтер вдруг переносит нас на «Обед графа Буленвилье», где целая компания живых, современных ему французов: граф, графиня и один из гостей, – в длинном споре с другим гостем, аббатом, разбирают Библию, пересматривают догматы церкви, излагают учение деистов и доводят под конец аббата до понимания, что он совершенно с ними согласен. На этот раз автор рисует с натуры. По всей Европе и в особенности во Франции за долгими поздними обедами светские люди вели тогда разговоры о философских и научных вопросах, а чаще всего о религии («при лакеях», – с негодованием замечает Орас Уолпол, излагая в письме к другу свои парижские впечатления). При этом между вымышленными лицами в «Диалоге» Вольтера и действительными знакомыми Уолпола, с которыми он обедал в 1765 году, та разница, что граф Буленвилье и его гости – деисты и горячо проповедуют существование Бога, а знакомые Уолпола – отъявленные атеисты, среди которых сам Вольтер считается отсталым. «Вольтер – ханжа: он деист», – говорила о нем Уолполу одна дама. Этот обычай вести в обществе разговоры теоретического характера, о котором упоминается во множестве современных мемуаров и писем, был, вероятно, причиной того обстоятельства, что писатели XVIII века так часто прибегали к форме диалога для изложения своих взглядов.

Главное место во всей этой обширной контрабандной литературе занимает у Вольтера разбор Библии, догматов, истории церкви и поведения духовенства. Вольтер издал даже со своими примечаниями перевод большей части исторических книг Ветхого Завета, производивший тем большее впечатление, что сама Библия была недоступна большинству читателей-католиков, так как допускалась лишь в латинском переводе.

Морлей совершенно справедливо замечает, что Вольтер разбирает Священную историю точно так же, как если бы разбирал произведение современного историка. Он основательно изучил и Библию, и древнюю христианскую литературу. Многие из его библиогностических замечаний подтверждаются позднейшими изысканиями в этой области, но у него нет и тени спокойного исторического отношения к предмету, свойственного английским и немецким исследователям. Впрочем, та сторона католицизма, с которой по преимуществу боролся Вольтер: дух нетерпимости, преследования, жестокости, – вовсе не была в современной ему Франции явлением, отошедшим в область истории, каким был он для английских критиков XVIII и немецких – XIX века. Этот дух был еще настолько жив в отечестве Вольтера, что мог порождать, как увидим из дела Ла Барра, чисто средневековые зверства.

Вольтер не только исследует творения библейских писателей, он с ними своеобразно полемизирует, как со своими литературными противниками: острит, негодует, ловит их на противоречиях. Он старательно подбирает аргументы, чтобы доказать невозможность даже таких библейских событий, в которых нет ничего чудесного, и приходит в восторг, если случайно наталкивается на аргумент, которого раньше не знал. Характерен в этом отношении рассказ о посещении его знаменитым скульптором Пигалем, приехавшим в Ферней, чтобы сделать статую хозяина замка. Вольтер не соглашался позировать, уверял, что раз у человека

нет лица (от худобы), нельзя делать его статуи, и нарочно гримасничал и шевелился, едва гость принимался за работу. Но вот случайно зашла речь об отливке статуй, и Пигаль заметил, что эта операция требует довольно продолжительного времени. Такой аргумент против золотого тельца, на отливку которого, по мнению Пигаля, понадобилось бы полгода, так обрадовал Вольтера, что в благодарность он отдался в полное распоряжение художника, и модель статуи была благополучно окончена. То же своеобразное, полемическое отношение к Библии выражается у Вольтера и в насмешках над теорией, по которой моря покрывали когда-то современные материки и даже горы. В пользу этой теории приводили то соображение, что на горах находят окаменелости рыб и морские раковины. «Но не проще ли, – спрашивает Вольтер, – предположить, что рыб занесли на горы путешественники, а относительно раковин стоит только вспомнить, как много приносилось их с берегов Сирии крестоносцами и пилигримами». Вольтер не знаток в этой области, и, вообще говоря, он не любит рассуждать о том, чего не знает, но этой теории он не мог не преследовать, потому что она напоминала ему о потопе. Старательно критикуя библейские события, он в то же время так сжился с Библией, что относился далеко не хладнокровно и к библейским личностям. К одним он чувствовал вражду, другим покровительствовал. Царя Давида он ненавидел всей душой, а Саула горячо защищал против несправедливостей Самуила. К Соломону у него было двойственное отношение: порицая его за некоторые поступки в начале царствования, он, в общем, относился к нему хорошо и даже называл Фридриха «Соломоном Севера» в разгар «величайшей» дружбы с прусским королем. «Экклезиаста» и «Песнь песней» он перевел стихами, приложив также и подстрочный перевод подлинника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.